E 52 — 1198

УБИЙСТВО РАСПУТИНА

ИЗ ДНЕВНИКА

В. ПУРИШКЕВИЧА

Из правил библиотеки КУС

„Если читатель испортит или утеряет книгу, он должен купить такую-же".

Е52
1198
9(47)
П 88

УБИЙСТВО РАСПУТИНА

(Из дневника В. Пуришкевича)

52984
Коммунистич. университет им. Я. М. Свердлова
1-я Библиотека

МОСКВА — 1923

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
2844319 93 ГОД

Главлит. № 7508. Тираж 25.000 экз.

„Мосполиграф"—20 типография „Красный Пролетарий" Пименовская ул. д. 1/16.

E 52 .T98
28443

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

В мертвом теле неизбежно заводятся черви. Но, конечно, не черви—причина смерти. Русский царизм изжил себя к концу войны и даже пережил себя. Он оказался несостоятельным перед лицом задач, поставленных войной. И неизбежно,—агония царского режима сопровождалась невиданными картинами гниения и разложения его аппарата. Безвольный, ничтожный Николай II, управляемый Александрой Федоровной, и Распутин, подбирающий министров по признаку положительного отношения к нему и любовнице Николая—Вырубовой,—верхушка царизма к февралю. Пуришкевич—дворянин, истерик и монархист—конечно, не мог понять того, что Распутин не причина гибели царизма, а лишь одно из следствий этой гибели, один из червей, заведшихся в изжившем себя строе. Поэтому Пуришкевич мог надеяться спасти царизм ценой убийства Распутина.

Дневник Пуришкевича дает яркую картину не только последних дней обреченного на гибель строя, но и безнадежности дворянских потуг к его спасению. Дворянский съезд выносит резолюцию против Распутина, великие князья организуют заговоры, кадеты участвуют и в дворцовых переворотах и в убийстве Распутина,—все это во имя того, чтобы спасти строй, на почве которого уже создались силы, способные не

только стереть последние регалии царизма, но способные двинуть революцию дальше к 25 октября.

Но мертвое тело не перестает быть мертвым, даже если изъять из него всех крупнейших червей. И русский царизм не стал сильнее от уничтожения Распутина. Сам Пуришкевич, его помощники—великий князь и Юсупов—своим непониманием условий последних дней царизма, своей узколобой близорукостью, мечущей их от убийства Распутина к трусливому отрицанию убийства перед царицей, своей неспособностью даже подумать о рабочем и крестьянине, как самостоятельной политической силе, служат прекрасным объяснением полного бессилия царизма, вскрывшегося 27 февраля.

19 ноября, 1916 года.

Сегодня я провел день глубочайших душевных переживаний.

За много лет впервые я испытал чувство нравственного удовлетворения и сознания честно и мужественно выполненного долга: я говорил в Государственной Думе о современном состоянии России; я обратился к правительству с требованием открыть государю истину на положение вещей и без ужимок лукавых царедворцев предупредить монарха о грозящей России опасности со стороны темных сил, коими кишит русский тыл, — сил, готовых использовать и переложить на царя ответственность за малейшую ошибку, неудачу и промах его правительства в делах внутреннего управления, в эти бесконечно тяжелые годы бранных испытаний, ниспосланных России всевышним.

А мало-ли этих ошибок, когда правительство наше — все сплошь калейдоскоп бездарности, эгоизма, погони за карьерой; лиц, забывших о родине и помнящих только о своих интересах, живущих одним лишь сегодняшним днем.

Как мне бесконечно жаль государя, вечно мятущегося в поисках людей, способных занять место у кормила власти, и не находящего таковых; и как жалки мне те, которые, не взвешивая своих сил и опыта, в это ответственное время дерзают соглашаться занимать посты управления, движимые честолюбием и не проникнутые сознанием ответственности за каждый свой шаг на занимаемых постах.

В течение двух с половиной лет войны я был политическим мертвецом: я молчал, и в дни случайных

наездов в Петроград, посещая Государственную Думу, сидел на заседаниях ее простым зрителем, человеком, без всякой политической окраски. Я полагал, как и полагаю сейчас, что все домашние распри должны быть забыты в минуты войны, что все партийные оттенки должны быть затушеваны в интересах того великого общего дела, которого требует от всех своих граждан, по призыву царя, многострадальная Россия; и только сегодня, да, только сегодня, я позволил себе нарушить мой обет молчания и нарушил его не для политической борьбы, не для сведения счетов с партиями других убеждений, а только для того, чтобы дать возможность докатиться к подножию трона тем думам русских народных масс и той горечи обиды великого русского фронта, которые накопляются и растут с каждым днем на всем протяжении России, не видящей исхода из положения, в которое ее поставили царские министры, обратившиеся в марионеток, нити от коих прочно забрал в руки Григорий Распутин и императрица Александра Федоровна, этот злой гений России и царя, оставшаяся немкой на русском престоле и чуждая стране и народу, которые должны были стать для нее предметом забот, любви и попечения.

Тяжело записывать эти строки, но дневник не терпит лжи: живой свидетель настроений русской армии от первых дней великой войны, я с чувством глубочайшей горечи наблюдал день ото дня упадок авторитета и обаяния царского имени в войсковых частях, и увы! не только среди офицерской, но и в толще солдатской среды,— и причина тому одна — Григорий Распутин.

Его роковое влияние на царя через посредство царицы и нежелание государя избавить себя и Россию от участия этого грязного, развратного и продажного мужика в вершении государственных дел, толкающих Россию в пропасть, откуда нет возврата.

Боже мой! Что застилает глаза государя? Что не дает ему видеть творящееся вокруг?!

Как жалки его министры, скрывающие истину и под давлением себялюбивых интересов играющие судьбами династии! Когда этому конец и будет ли?

Что заставляет молчать русских сановников и лиц, приближенных царю при дворе?

Трусость. Да, только одна беспредельная трусость и боязнь утратить свое положение, и в жертву этому приносятся интересы России.

Они боятся сказать государю правду.

Яснее, чем когда-либо понял я это 3-го ноября, когда, возвращаясь с поездом моим с Румынского фронта, я был приглашен государем в Могилеве к обеду и делал доклад ему о настроениях наших армий в районе Рени, Браилова и Галаца.

Помню, как сейчас, перед обедом блестящую шумливую толпу великих князей и генералов, поджидавших вместе со мною выхода государя к столу и делившихся впечатлениями военных событий и событий внутренней жизни России... Один за другими они подходили и заговаривали со мною: вы делаете доклад царю? Вы будете освещать ему положение дел? Скажите ему о Штюрмере. Укажите на пагубную роль Распутина. Обратите его внимание на разлагающее влияние того и другого на страну. Не жалейте красок, государь вам верит, и ваши слова могут оказать на него соответствующее впечатление.

Слушаюсь, ваше высочество! Хорошо, генерал!— отвечал я то одному, то другому, направо и налево, а в душе у меня становилось с каждым мгновением все тяжелее и печальнее: как, думал я, неужели мне, проводящему всю войну на фронте и живущему одними только военными интересами наших армий, приходится сказать государю о том, о чем ежедневно ваш долг говорить ему, ибо вы в курсе всего того, что проделывает Распутин и его присные над Россией, прикрываясь именем государя и убивая любовь и уважение к нему в глазах народа.

Почему вы молчите? Вы, ежедневно видящие госу-

даря, имеющие доступ к нему, ему близкие. Почему толкаете на путь откровений меня, приглашенного царем для других целей и столь далекого сейчас от событий внутренней жизни России и от политики, которую проводят в ней калифы на час ее, появляющиеся и лопающиеся, как мыльные пузыри, бездарные министры.

Трусы!—думал я тогда. Трусы!—убежденно повторяю я и сейчас.

Жалкие себялюбцы, все получившие от царя, а неспособные даже оградить его от последствий того пагубного тумана, который застлал его духовные очи и лишил его возможности, в чаду придворной лести и правительственной лжи, правильно разбираться в истинных настроениях его встревоженного народа.

И вот я сказал,—и тогда ему в ставке и сейчас в Государственной Думе, на всю Россию,—горькую истину, и как верный, неподкупный слуга его, принеся в жертву интересам родины личные мои интересы, осветил ту правду, которая от него скрывалась, но которую видела и видит вся скорбная Россия.

Да, я выразил то несомненно, что чувствуют лучшие русские люди, без различия партий, направления и убеждений. Я это понял, когда сходил с трибуны Государственной Думы после моей двухчасовой речи.

Я это понял из того потока приветствий, рукопожатий и неподдельного восторга, который сквозил на всех лицах обступившей меня после моей речи толпы,—толпы, состоящей из представителей всех классов общества, ибо Таврический дворец в день 19-го ноября был переполнен тем, что называют цветом нации в смысле культурности, общественного и официального положения.

Я знаю, что я высказал то, что чувствовала Россия.

Я знаю, что ни одного фальшивого звука не было в моей речи.

Я чувствую, что в ней не сквозила хамская наглость Гучкова, но что вся, проникнутая чувством верноподданнической

даннейшей любви, она должна показать государю, что вся Россия, от крайнего правого крыла до представителей левых партий, не лишенных государственного смысла, одинаково оценивает создавшееся положение и одинаково смотрит на тот ужас, который представляет собою Распутин, в качестве неугасимой лампады в царских покоях.

Да, все, что находилось сегодня в Таврическом дворце, на скамьях, внизу и на хорах, все это были мои единомышленники, и только три—четыре человека на всю Государственную Думу, с Марковым и Замысловским во главе, остались чуждыми тем чувствам, которыми жили мы, взывавшие к государю и просившие у него избавить и себя, и Россию от той новой казни египетской, какую представляет собою Распутин.

Но что нужды? Кому больше, чем самим себе, вредят эти патриоты казенного образца, готовые стать на запятки ко всякой власти и любовно пестуемые людьми типа Протопопова, Штюрмера, Воейкова и компании, знающими им цену, а вернее, расценивающими их в тот или другой момент жизни государства, сообразно обстановке и обстоятельствам.

Когда я выходил из Таврического дворца, уставший, истомленный и обессилевший от рукопожатий и приветствий, меня нагнал в Екатерининской зале Кауфман-Туркестанский, состоящий главным уполномоченным Красного Креста при ставке государя и отъезжающий завтра в ставку, и, обнявши меня, сказал, что распорядился доставить себе один экземпляр стенограммы моей речи, какую повезет государю и лично передаст ему.

Возвратившись домой, узнал дома от жены любопытную подробность.

После окончания моей речи, к ней, сидевшей на хорах, подходило много дам высшего петроградского круга и аристократии, просивших передать мне сочувствие по поводу всего мною сказанного, и в числе этих дам подошла баронесса Икскюль-фон-Гильден-

бант, одна из самых ярых поклонниц Распутина, в салоне коей он постоянно бывает запросто, как свой человек, и просила жену мою также принять от нее по адресу моему горячий привет и „восхищение“ всем мною сказанным и вместе с тем просить меня в один из ближайших дней не отказать отобедать у нее вместе с некоторыми ее друзьями.

Мы долго хохотали над этим приглашением, цель которого для меня сразу стала ясной: почтенная баронесса, очевидно, хотела свести меня с Распутиным, будучи уверенной, что и я поддамся его гипнозу и после свидания с ним окажусь его фанатичным поклонником.

20 ноября.

Сегодня весь день я буквально не имел покоя, сидя дома и работая у своего письменного стола: телефон мой трещал с утра до вечера, знакомые и незнакомые лица выражали сочувствие всему мною сказанному вчера; и должен признаться, что степень этого сочувствия поднялась до такого градуса, что дальнейшее пребывание у себя в кабинете мне сделалось невыносимым; нет положения более глупого, по-моему, чем молчаливо выслушивать похвалы себе, не смея перебить говорящего и разливающегося соловьем в твою пользу.

Бесконечное число лиц заносило мне сегодня свои визитные карточки в знак сочувствия.

Среди них была масса от членов Государственного Совета и, что мне особенно дорого, от старика графа С. Д. Шереметьева, которого я привык любить и уважать наравне с покойным близким мне А. А. Нарышкиным, ибо оба они рыцари без страха и упрека.

Из звонивших по телефону меня заинтриговал один собеседник, назвавшийся князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстон.

После обычных приветствий, он, не удовлетворившись этим, просил разрешения побывать у меня в

один из ближайших дней, по возможности скорее, для выяснения некоторых вопросов, связанных, как он сказал, с ролью Распутина при дворе, о чем по телефону говорить „не удобно".

Я просил его заехать завтра, в 9 час. утра.

Любопытно узнать, о чем он хочет говорить, и что ему нужно

21 ноября.

Сегодня, ровно в 9 час. утра, ко мне приехал князь Юсупов.

Это молодой человек лет 30 в форме пажа, выполняющий, очевидно, военный ценз на звание офицера.

Мне он очень понравился и внешностью, в которой сквозит непередаваемое изящество и порода, и, главным образом, духовной выдержкой. Это, очевидно, человек большой воли и характера: качества мало присущие русским людям, в особенности из аристократической среды.

Он просидел у меня более двух часов.

„Ваша речь не принесет тех результатов, которых вы ожидаете,—заявил он мне сразу. — Государь не любит, когда давят на его волю, и значение Распутина, надо думать, не только не уменьшится, но, наоборот, окрепнет, благодаря его безраздельному влиянию на Александру Федоровну, управляющую фактически сейчас государством, ибо государь занят в ставке военными операциями".

„Что же делать?"—заметил я. Он загадочно улыбнулся и, пристально посмотрев мне в глаза немигающим взглядом, процедил сквозь зубы—„устранить Распутина".

Я засмеялся.

„Хорошо сказать,—заметил я,—а кто возьмется за это, когда в России нет решительных людей, а правительство, которое могло бы это выполнить само и выполнить искусно, держится Распутиным и бережет его, как зеницу ока".

„Да, — ответил Юсупов, — на правительство расчитывать нельзя, а люди все-таки в России найдутся. „Вы думаете?“—„Я в этом уверен, и один из них перед вами“.

Я вскочил и зашагал по комнате.

„Послушайте, князь, этим не шутят. Вы мне сказали то, что давным-давно сидит гвоздем в моей голове. Я понимаю не хуже вашего, что одними думскими речами горю не помочь, но утопающий хватается за соломенку, и я за нее схватился. Выход, о котором вы говорите, не представляется для меня неожиданным, больше того, несколько лет тому назад, при жизни покойного В. А. Дедюлина, бывшего, как вы знаете, дворцовым комендантом, я специально ездил к нему в Царское Село, состоя с ним в близких отношениях, исключительно затем, чтобы убедить его в необходимости немедленно ликвидировать Распутина, создав для этого подходящую обстановку, ибо уже и тогда мне было ясно, что Распутин является роковым человеком для династии и, естественно, для России“.

„И что же?“—спросил Юсупов. „Как видите, ничего: Распутин жив и по сей день. Дедюлин, очевидно не дерзнул взяться за это дело, ибо ужас положения в том, что масса высших сановников наших, типа Саблеров, Раевых, Добровольских, Протопоповых, Штюрмеров, Воейковых, строят свою карьеру на Распутиных, и малейшая оплошность лица, которое пожелало бы избавить Россию от этой язвы, стоила бы головы инициатору, с одной стороны, и с другой—содействовала бы вящшему укреплению значения при дворе этого гада“.

„Вы правы, — заметил Юсупов. — Знаете ли вы, что Распутин охраняется сыщиками, поставленными со стороны трех учреждений“.

„Что вы!“

„Да, да. Его охраняют шпики от министерства императорского двора, по желанию императорского двора, по желанию императрицы, шпики от министер-

ства внутренних дел и шпики от... отгадайте, от кого еще?"

„Не сумею вам сказать!"?

„Не удивляйтесь!.. и шпики от банков".

Я усмехнулся. „Князь,—заметил я,—я перестал удивляться чему бы то ни было в России. Я ничего не ищу, ничего не добиваюсь и, если вы согласны принять участие в деле окончательного избавления России от Распутина, то вот вам моя рука, обсудимте все возможности этой операции и возьмемся за ее выполнение, если найдем еще несколько подходящих лиц, не привлекая к делу никого из слуг в целях соблюдения тайны".

„Двоих я могу уже вам указать, — с живостью заметил Юсупов, пожимая мне руку.—Если вы свободны сегодня, преезжайте ко мне, они у меня будут, и вы с ними познакомитесь. Мы обсудим вопрос, и если четырех нас окажется мало, то подыщем еще кого-либо из наших друзей, а я вам сообщу мой план, исполнимость коего будет находиться в прямой зависимости от степени душевного спокойствия Григория Ефимовича и желания его посетить мой дом вечером в один из ближайших дней".

На этом мы расстались.

22 ноября

Вчера вечером я был у Юсупова. Я приехал в 8 час., когда он был еще один.

Через полчаса вошел молодой офицер Преображенского полка, поручик С., показавшийся мне человеком мало подвижным, но энергичным, а еще через 10 минут не вошел, а влетел в комнату высокий статный красавец, в котором я немедленно узнал великого князя Дмитрия Павловича.

Мы познакомились друг с другом и, не откладывая дела в долгий ящик, принялись за обсуждение вопроса о способе ликвидации Распутина.

Выяснилось, что Распутин давно ищет случая позна-

комиться с молодой графиней П., известной петроградской красавицей, бывающей в доме Юсуповых.

„Графини сейчас в Петрограде нет,—заявил нам хозяин Ф. Ф. Юсупов,—она в Крыму и в Петроград даже не собирается, но при последнем посещении моем Распутина я заявил ему, что графиня на днях возвращается в Петроград, где будет несколько дней, и что, если он, Распутин, хочет, то я могу его с нею познакомить у себя в доме в тот вечер, когда графиня будет у моих родных.

Распутин с восторгом принял это предложение и просил заблаговременно только предупредить его о дне, когда у нас будет графиня, дабы в свою очередь устроиться так, чтобы в этот день „она", т.-е. императрица, не позвала бы его в Царское Село".

„Вы видите, господа,—добавил Юсупов,—что при этом условии покончить с Распутиным не составит труда; вопрос лишь в том, каким способом от него избавиться, как обезопасить себя от слежки шпиков, дабы подозрения, после смерти Распутина, не пали на нас, и куда девать его труп".

После продолжительного обсуждения поставленных Юсуповым вопросов, мы пришли к единогласному заключению о необходимости покончить с Распутиным только путем отравления его, ибо местоположение дворца Юсуповых на Мойке, как раз против полицейского участка, расположенного по ту сторону реки, исключало возможность стрельбы из револьвера, хотя бы и в стенах подвального этажа, в коем помещалась столовая молодого Юсупова, куда он предполагал провести Распутина, привезя его к себе во дворец в намеченный день.

Вместе с тем стало совершенно очевидным, что четырех лиц недостаточно для удачного выполнения намеченной операции, в виду нежелания нашего привлекать к делу кого-либо из прислуги и необходимости иметь своего верного шоффера, без коего все дело казалось нам неосуществимым.

Я предложил взять в качестве такового старшего врача моего отряда, работавшего в течение двух лет со мной на войне, д-ра С. С. Лазаверта. Предложение мое было принято, и, побеседовав на тему о политическом положении России еще полчаса, мы расстались, уговорившись собраться 24 ноября, в 10 часов вечера, в моем поезде, стоявшем на товарной станции Варшавского вокзала ,откуда я намеревался, пополнив мой отряд Красного Креста всем необходимым, в средних числах декабря двинуться на Румынский фронт, в Яссы, для работы в районе наших армий этого фронта.

24 ноября.

Сегодня я провел весь день в разъездах с д-ром Лазавертом, озабочиваясь пополнением моего поезда всем необходимым перед отъездом его на фронт.

Был в главном управлении Креста, где царит обычная бестолочь и занимаются интригами, орденами и писанием бумаг в ущерб живому делу.

В 12 час. дня заехал к принцу Александру Петровичу Ольденбургскому, у которого завтракал после обычного доклада; от принца проехал в Государственную Думу.

Как бесконечно глубоко я уважаю этого благородного, чистого и честного, самоотверженно служащего святому делу помощи раненым, старика.

Он напоминает мне моего отца и по характеру и по темпераменту; я отношусь к нему с сыновней преданностью и любовью и знаю, что он в свою очередь также меня любит и глубоко верит мне.

Да он горячка, он вспыльчив, он подвержен вспышкам минутного гнева, толкающего его иногда на безрассудные решения, в коих он потом сам первый кается и готов извиниться перед всяким, кого незаслуженно обидел, как бы ни был мал тот, который стал жертвой его внезапного гнева,—но он весь чистота, весь кристалл, его благородная душа ищет

только добра и блага. Я не знаю, что было бы с санитарным делом на фронте, если бы принц А. П. Ольденбургский по временам не исправлял бы властно и не карал бы жестоко тех, которые в личных интересах и в погоне за чином или орденом принимают все меры к сокрытию санитарных безобразий и недочетов в деле помощи раненым и больным солдатам,—недочетов, которые так ярко и выпукло бросаются в глаза всякому, кто вникает в наше военно-санитарное дело при посещении нашего западного и восточного фронтов.

Конечно, вокруг принца целая орава недостойных людей: взяточников, проходимцев, карьеристов, изучивших его слабые стороны и подыгрывающихся под них.

Многое из того, что он делает, в силу дурных советов, яйца выеденного не стоит, хотя и обходится в большие деньги, но все это пустяки сравнительно с тою пользою, которую приносит фронту этот глубокий старик, вечно кипящий юношеским пылом и молодою энергией, бесконечно добрый в душе, о чем свидетельствует одна только его старческая улыбка, когда в редкие минуты он видит, что начатое им дело, порученное честному человеку, приносит желанные плоды.

Сегодня у меня было пренеприятное столкновение во время доклада у принца с главным инспектором санитарной части северного фронта Двукраевым, правою рукою Евдокимова, дорожащего этим типом молодого, но из ранних.

Вот, признаться, тройка, которую я давно сбросил бы с Тарпейской скалы: Евдокимова,—главного медицинского инспектора, и двух его пристяжных—Гюбенета, западного фронта и Двукраева, северного; сколько зла приносят они нашим армиям—и не перечесть, а самое главное и ужасное зло—это вечное их стремление скрыть истину и ставить палки в колеса учреждениям Красного Креста, работающим на

фронте, ибо им кажется, что каждый отряд не их ведомства, работающий в наших армиях, эвакуирующий и питающий раненых, является живым укором их деятельности, свидетельствуя о малой ее продуктивности и слабой постановке.

Мое столкновение с Двукраевым на этой почве закончилось тем, что я обозвал его профессиональным лгуном при принце, за что Двукраев вызвал меня на дуэль, предусмотрительно оговорившись, что будет драться по окончании войны, ибо теперь не время.

Я в ответ только засмеялся ему в глаза и заявил, что своих слов обратно не беру, а советую ему больше думать о наших раненых, чем о способах скорейшего получения новых орденов, которые сыплются на него дождем, за доклады о фиктивном благополучии санитарной части на вверенном ему северном фронте.

Принц остановил дальнейший обмен любезностей между нами, сухо распрощавшись с Двукраевым, и мы пошли завтракать.

Что будет дальше—не знаю; по всем вероятиям, Двукраев постарается воспретить мне въезд на северный фронт в районе действующих армий, ибо я, по его мнению, вижу то, чего видеть мне не полагается, и не могу согласиться с системой прикрывать безобразия и работать под девизом: „все обстоит благополучно".

Только в восемь часов вечера приехал я к себе на поезд, на Варшавский вокзал, и прошел в вагон-библиотеку, чтобы распорядиться и приготовить все нужное к нашему совещанию, начало которого назначено было мною сегодня на 10 часов.

Отпустив санитаров и шоферов из поезда, спустив шторы в вагоне-библиотеке, я стал ждать.

Ровно в 10 часов в автомобиле Дмитрия Павловича приехал он сам с Юсуповым и поручиком С.

Я познакомил их с д-ром Лазавертом, и мы приступили сообща к дальнейшему обсуждению нашего

плана, при чем князь Юсупов показал нам полученный им от В. Маклакова цианистый кали как в кристаликах, так и в распущенном уже виде в небольшой склянке, которую он в течение всего пребывания своего в вагоне то и дело взбалтывал.

Заседание наше длилось около двух часов, и мы сообща выработали следующий план:

В назначенный день, или вернее ночь, мы все собираемся у Юсупова ровно в 12 часов ночи. В половине первого, приготовив все, что нужно в столовой у Юсупова, помещающейся в нижнем этаже его дворца, мы поднимаемся на верх, в его кабинет, откуда он, Юсупов, выезжает к 1 ч. ночи за Распутиным на Гороховую в моем автомобиле, имея шоффером д-ра Лазаверта.

Привезя Распутина к себе, Юсупов проводит его прямо в столовую, подъехав к ней со двора, при чем шоффер должен вплотную подогнать автомобиль к входной двери с таким расчетом, чтобы с открытием дверцы автомобиля силуеты выходящих из него не были бы видны сквозь решетку на улицу кому-либо из проходящей публики как по эту сторону Мойки, так и по ту, где в № 61 находится полицейский участок и помимо всего могут прогуливаться шпики, ибо нам неизвестно, уведомляет ли всегда и уведомит ли на этот раз также Распутин своих телохранителей, где он проводит добрую половину ночи.

По приезде Распутина в дом Юсупова, д-р Лазаверт, скинув с себя шофферские доспехи, по витой лестнице, ведущей от входа мимо столовой в гостиную князя, присоединяется к нам, и мы, т.-е. Дмитрий Павлович, я, С. и Лазаверт, становимся на верху у витой лестницы на всякий случай, дабы оказать помощь находящемуся внизу, в столовой, Юсупову в случае необходимости, если бы внезапно дело пошло не так, как нужно.

После смерти Распутина, которая, по нашим соображениям, должна была бы наступить через десять-

пятнадцать минут по его прибытии во дворец и в зависимости от дозы выпитого им в мадере яда, князь Юсупов подымается на верх к нам, после чего мы все спускаемся обратно в столовую и, сложив в узел возможно большее из одежды Распутина, передаем это поручику С., который, облачившись в Распутинскую шубу (С. по комплекции и росту в шубе может быть принят шпиками, коих мы все-таки опасались, за Распутина, прикрыв лицо поднятым воротником) и взяв узелок вещей Распутина, выходит с великим князем во двор и садится в автомобиль, на коем д-р Лазаверт опять за шоффера; автомобиль направляется к моему поезду на Варшавский вокзал, где к этому времени в моем красном вагоне должна быть жарко затоплена печь, в каковой моя жена и жена д-ра Лазаверта должны сжечь все то из одежды Распутина, что привезут С. с великим князем.

Вслед за сим Лазаверт и его пассажиры погружают мой автомобиль на платформу, входящую в состав поезда, и за сим пешком или на извощиках отправляются на Невский во дворец великого князя Сергея Александровича, откуда, сев в автомобиль великого князя Дмитрия Павловича, возвращаются уже в этом автомобиле на Мойку, во дворец Юсупова и, опять-таки со двора, подъехав вплотную к дому, поднимаются в гостиную, где князь Юсупов и я должны поджидать их возвращения.

Вслед за сим, спустившись все вместе в столовую, мы обворачиваем труп в какую-либо подходящую материю и, уложив мумию в крытый автомобиль великого князя, отвозим его в заранее намеченное место и бросим в воду, привязав к телу цепями двухпудовые гири, дабы труп не всплыл случайно на поверхность через какую-либо прорубь, хотя это представлялось нам едва ли возможным, ибо вследствие жестоких морозов все в Петрограде и его окрестностях — реки, речки и каналы—были покрыты толстым слоем льда, и приходилось подумать и подыскать место, свобод-

ное от ледяной коры, куда мы могли бы опустить труп убитого Распутина. На этом закончилось наше заседание.

Для дальнейшей разработки деталей мы решили собраться 1-го декабря вновь у меня в поезде, также в 10 час. вечера; до этого времени сделать основательную рекогносцировку в окрестностях Петрограда тех мест, которые могли оказаться подходящими для погребения в воде Распутина, при чем я взялся объехать окрестности с д-ром Лазавертом в качестве шоффера на своем автомобиле, а Юсупов на автомобиле великого князя, управлять коим взялся Дмитрий Павлович, дабы даже в этих поездках не прибегать к помощи наших шоффероров-солдат.

В 12 час. ночи мы распрощались друг с другом и разъехались по домам, при чем я взял на себя еще поручение купить цепи и гири на Александровском рынке для задуманного предприятия.

26 ноября.

Сегодняшний день опять калейдоскоп впечатлений и, по обыкновению, с самого утра.

Сижу и разбираюсь в корреспонденции—звонок, подают пакет от председателя совета правой фракции профессора Левашева. Вскрываю: бумага с просьбой, чтобы я вернулся в лоно правой фракции, в коей я занимал место члена совета до 18 ноября и из коей вышел накануне моей думской речи: мотив—в столь тяжелые времена такие люди, как я, особенно ценны для фракции.

Прочел я бумагу, свернул ее, спрятал и мне стало бесконечно больно, горько и обидно.

Я понял между строк этого письма причину, заставившую г-на Левашева, Маркова и компанию обратиться ко мне с призывом и просьбой о моем возвращении.

Дело до нельзя просто: эти господа увидели, что речь моя в Думе 19-го ноября была отражением всего

того, что думает и чувствует вся честная Россия, все в ней государственно настроенные умы, без различия партий и направлений.

Марковы, Замысловские и Левашевы поняли, что их тройка пресмыкающихся пред всякой властью, какою бы она ни была, осталась одинокою в России; что правые в России не с ними, а со мною; что я являюсь выразителем желаний и чаяний русского народа, а не они, лижущие сапоги Протопопова и ставшие его горячими поклонниками с момента, когда этот проходимец стал, на горе царя и России, министром внутренних дел и благосклонно улыбнулся их бездарному органу «Земщине», неспособной подняться до критики власти, и исключительно смотрящей в руку министра внутренних дел, подкармливающего ее из государственного сундука в размере, зависящем от степени преданности и низкопоклонства ее писак министру внутренних дел и его политике.

Как мне памятно последнее заседание фракции перед моей речью, заседание 18 ноября в нашей фракционной комнате 36 в Государственной Думе, где я конспективно изложил всю мою речь фракции и просил сделать мне честь говорить в думе от ее имени, в чем мне было отказано.

По лицам сидевших я видел, что три четверти — мои горячие сторонники; но разве фракция у нас свободна в выражении своих взглядов: она в большей своей части терроризована Марковым, который вкупе с Замысловским не дают ей думать самостоятельно и честно, по-своему, обращая, в особенности крестьян, в какое-то думское быдло, а в редкие моменты, когда даже это быдло возмущается и хочет думать по-своему, угрожают членам Думы тем, что в случае неугодного для правительства голосования Думы по тому или другому вопросу, последняя будет разогнана, и ответственность за ее разгон ляжет на членов нашей фракции, которые своими голосами дали перевес голосующим в Думе несогласно с видами правительства,

и крестьянство, опасаясь сделать-ли ложный шаг или даже просто лишиться звания члена Думы, покоряется марковским доводам и становится игрушкой его услужающей правительству роли.

А в результате—что?

А то в результате, что левые и кадеты получают в руки новый козырь, чтобы дискредитировать правых в России, говоря не без оснований народу: «поглядите, люди добрые! Кто они, эти правые! Губернатор крадет на местах,—они его прикрывают, полагая, что это способ оберечь престиж власти, деятельность коей видна всем, с нею соприкасающимся. Министр-подлец толкает Россию к гибели, обманывает государя на каждом шагу, и это на местах все видят, а они кадят министру́ и расточают ему фимиам тем гуще, чем свободнее по собственному усмотрению распоряжается этот министр десятимиллионным фондом».

Нет, мне такая политика, так называемых, правых, ориентации, так сказать, собственного кармана, мне она глубоко омерзительна, и я совершенно неспособен мириться с тем, чтобы марали мне мои государственные идеалы люди, в представлении коих Россия олицетворяется шитым мундиром говорящего от ее имени подлеца на любом ответственном министерском посту, добравшегося до власти, обманувшего государя и распоряжающегося государственным сундуком; таких господ я, как правый, по моему глубокому разумению, обязан безжалостно разоблачать, и это разоблачение всей честной Россией будет пониматься не как попытка дискредитировать власть, а как намерение оздоровить ее в корне и сделать неповадным для других недостойных тянуться к кормилу государственного корабля.

Вот мысли, которые вихрем крутились у меня в голове сегодня, после прочтения пригласительной бумаги фракции вернуться в ее лоно.

Само собою разумеется, я оставлю этот призыв

без ответа. С г.г. Марковым, Замысловским и Левашевым мне не по пути.

Нам не столковаться все равно ни в будущем, ни в особенности сейчас, в тяжелые годы войны, когда нужно прилагать все усилия к духовному объединению русских граждан, вне всякой зависимости от того, какой они нации и религии, а ставя в упор только каждому вопрос: „любишь-ли ты Россию и государя, и хочешь-ли ты искренно победы нашего оружия над упорным и сильным врагом?“

Г.г. Марковым, Замысловским, в их политических, партийных шорах, не подняться выше своей уездной колокольни в тот день, когда на Россию нужно глядеть с колокольни Ивана Великого и суметь многое забыть, простить и со многим, во имя любви к общей родине, душевно примириться...

Около 12 час. дня, ко мне позвонили по телефону из дворца великого князя Кирилла Владимировича и передали, что его высочество просит меня заехать к нему сегодня по важному делу около 2-х часов.

Я ответил, что буду, и решил поехать, хотя великий князь Кирилл, как и оба милые его братья, всегда внушали мне чувство глубочайшего отвращения, вместе с их матерью великой княгиней Марией Павловной, имени коей я не мог слышать хладнокровно на фронте в течение всего моего пребывания там с первых дней войны.

Я чувствую, что Владимировичи и их мамаша, оставшаяся закоренелой немкой и германофилкой, не только вредят нашим армиям на фронте, но и беспрестанно подкапываются под государя, прикрываясь идейными мотивами блага России.

Они не оставили мысли о том, что корона России когда-нибудь может перейти к их линии, и не забыть мне рассказа Ивана Григорьевича Щегловитова о том, как в бытность его министром юстиции, к нему однажды разлетелся великий князь Борис Владимирович с целью выяснения вопроса: имеют-ли по зако-

нам российской империи право на престолонаследие они, Владимировичи, а если не имеют, то почему?

Щегловитов, ставший после этого разговора с великим князем Борисом предметом их самой жестокой ненависти и получивший от них кличку Ваньки Каина, разъяснил великому князю, что прав у них на престолонаследие нет вследствие того, что великая княгиня Мария Павловна, мать их, осталась и после брака своего лютеранкой.

Борис уехал, не солоно хлебавши, но через некоторое время представил в распоряжение Щегловитова документ, из коего явствовало, что великая княгиня Мария Павловна из лютеранки уже обратилась в православную...

В два часа дня я входил в подъезд дворца великого князя Кирилла на улице Глинки и через несколько минут был им принят.

Официальным мотивом приглашения меня, как я понял из первых слов его разговора, было желание его жены Виктории Федоровны, милейшей и умнейшей женщины, родной сестры румынской королевы Марии, дать мне несколько поручений к румынской королеве, в виду отъезда моего с санитарным поездом на Румынский фронт через Яссы; но, в сущности, это было лишь претекстом для нашего свидания со стороны великого князя, а хотелось ему, видимо, другого: он желал, повидимому, освещения с моей стороны настроения тех общественных групп, в которых я вращаюсь, а попутно ему хотелось раскусить, отношусь-ли я лично отрицательно лишь к правительству императора, или же оппозиционность моя подымается выше.

Повидимому, мое направление его неудовлетворило: он понял, что со мною рассуждать и осуждать государя не приходится, и очень быстро прекратил этот разговор, который сам начал в этой области.

Я прошел с ним к Виктории Федоровне и, посидев у нее ¼ часа, обещал направить к ней мою

жену, которой великая княгиня хотела поручить сделать некоторые закупки для румынской королевы.

Выходя из дворца великого князя, я, под впечатлением нашего с ним разговора, вынес твердое убеждение, что он вместе с Гучковым и Родзянко затевают что-то недопустимое, с моей точки зрения, в отношении государя, но что именно—я так и не мог себе уяснить.

28 ноября.

Сговорившись по телефону с Юсуповым, заехал к нему сегодня в 1 час дня, дабы вместе с ним осмотреть то помещение в нижнем этаже его дворца, которое должно стать ареной нашего действа в день ликвидации Распутина.

Подъехал я с главного подъезда и прошел в кабинет князя сквозь, невероятный строй челяди, толпящейся у него в передней.

«Послушайте, князь,—говорю ему,—неужели вся эта орава так и останется сидеть в передней, с ливрейным арапом во главе, в предстоящую нам ночь Распутинского раута?»

Он засмеялся. «Нет,—говорит,—успокойтесь, останутся лишь два дежурных на главном подъезде, а все остальное будет отпущено вместе с арапом».

Мы прошли с Юсуповым в столовую, помещающуюся, как я сказал, в полуподвале его дворца.

Там работали люди, проводившие электричество. Столовая имеет вид пока еще довольно растерзанный; в ней идет полный ремонт; но помещение это для приема дорогого гостя крайне удобное, глухое и, мне думается, сужу по толщине стен, что, если бы даже пришлось здесь стрелять, то звук от выстрела не был бы слышен на улице, ибо окна,—их два в комнате,—крайне малы и находятся почти на уровне тротуара.

После осмотра помещения, мы поднялись вновь наверх, в гостиную князя, и через четверть часа я поехал в Государственную Думу с целью повидаться

с В. А. Маклаковым, более тесное участие коего в нашем предприятии казалось нам с Юсуповым полезным, хотя Юсупов и полагал, что Маклаков не согласится на активную роль.

Поймав Маклакова в Думе, я, как говорится, сразу взял быка за рога и, усевшись с ним рядом у бюста Императора Александра II, заявил ему, что для успеха нашего дела нас мало, и что крайне желательно его участие как в нашем последнем совещании по этому вопросу, так и в выполнении намеченного плана.

Маклаков на меня воззрился, впился в меня взглядом и после продолжительного молчания заявил, что едва ли он может быть полезен, как активный деятель, в самой ликвидации Распутина, но что после таковой, если что-либо у нас выйдет негладко и мы попадемся, он не только готов помочь нам юридическим советом, но и охотно выступит нашим защитником на суде, если дело дойдет до такового.

Вместе с тем, прозондировав у меня приблизительный день, когда мы должны осуществить намеченное, он как-то радостно объявил мне, что даже независимо от своей воли лишен возможности стать более тесным соучастником нашим, ибо к этому времени должен выехать в Москву, где ему придется пробыть около недели.

„Но вот о чем я вас горячо прошу,—с живостью добавил он,—если дело удастся, не откажите немедленно послать мне срочную телеграмму, хотя бы такого содержания: „когда приезжаете“. Я пойму, что Распутина уже не существует, и что Россия может вздохнуть свободно“.

Я вздохнул. Типичный кадет,—подумал я, но мне ничего не оставалось другого, как согласиться на его просьбу, и мы расстались.

29 ноября.

Все утро провел в хлопотах: сначала ездил в Александровский рынок с женой на извозчике поку-

пать гири и цепи, каковые с большими предосторожностями мы свезли на поезд и разместили частью в аптеке, а частью за книгами в вагоне-библиотеке, во избежание любопытства нашей поездной прислуги.

Затем в 1 час дня, после завтрака, я выехал с Лазавертом на моем автомобиле осматривать окрестности Петрограда, согласно решения нашего последнего совещания.

Лазаверт сел за шоффера, и мы прокатались без малого четыре часа по жестокому морозу, всматриваясь в каждую прорубь Невы, реченок и болот под Петроградом и оценивая степень их пригодности для намеченного дела.

В начале шестого, продрогшие и иззябшие, возвратились мы домой и еле отогрелись большими дозами tincturae coniaci. В сущности из всего нами осмотренного подходящими, по моему, оказались лишь два места: одно—плохо освещаемый по ночам канал, идущий от Фонтанки к Царскосельскому вокзалу, в каковом канале есть небольшая прорубь, и другое—за пределами города на Старой Невке у моста, ведущего к островам.

Интересно знать, что высмотрели Юсупов с великим князем, и не привлекли-ли их внимания эти же проруби?

30 ноября.

Видел доспехи, приобретенные д-ром Лазавертом сегодня за 600 руб., по моему поручению: шофферская доха, нечто в роде папахи с наушниками и шоффер-ские перчатки.

Лазаверт облачался во все это при мне и выглядит типичным шоффером—хлыщеватым и нахальным. Все купленное он свез до времени в гостиницу Астэрию, в которой живет в дни наших наездов в Петроград.

1 декабря.

Сейчас 1 час ночи. Только что из поезда моего уехали великий князь, Юсупов и поручик С.

Мы намечали дальнейшие детали задуманного.

Юсупов и я хотели бы приблизить момент его осуществления и закончить все не позже 12 декабря; но, оказывается, у великого князя Дмитрия Павловича все вечера вплоть до 16 декабря разобраны, а на вечер, который, по словам Юсупова, был более всего подходящим для выполнения нашего плана, у Дмитрия Павловича была назначена какая-то пирушка с офицерами-однополчанами и ни отменить ее, ни перенести на другой срок великий князь не мог, так как, оказывается, сам назначил день этого собрания, и какая-либо перемена его могла бы вызвать толки.

Из слов Юсупова я понял, что Распутин проявляет чрезвычайное нетерпение скорее познакомиться с интересующей его дамой, и сам напоминает и торопит его по телефону не откладывать дела в долгий ящик.

Юсупов был на днях у Распутина и сообщил ему, что заранее уведомит о дне свидания, но что сейчас еще в точности определить этот день не может, ибо графиня, интересующая Григория Ефимовича, еще не приехала и проедет в Царское Село через Петроград не раньше средних чисел декабря.

«Я заезжал к Распутину,—заявил нам Юсупов,—главным образом для того, чтобы уяснить себе вопрос: оповещает-ли вообще Распутин, выезжая в свои ночные похождения, шпиков о месте своего пребывания по ночам, и в частности, намерен-ли он уведомить их о том, что будет у меня».

«К сожалению,—добавил князь,—этот вопрос остается для меня и по-сейчас открытым, ибо ни сам Распутин, ни его любимая секретарша, фрейлина Головина, почти круглые сутки проводящая у него в квартире, определенного ответа мне не дали».

«Как он к вам относится, Феликс? — спросил Юсупова великий князь, — вы пользуетесь его доверием?»

Юсупов рассмеялся: «О, вполне! Я вне подозрения. Я ему очень нравлюсь. Он сетует, что я не занимаю административного поста и обещает сделать из меня большого государственного человека».

«Ну, и вы?»... многозначительно взглянув на Юсупова и затягиваясь папиросой, кинул ему великий князь.

«Я?—потупившись, опустив ресницы и приняв иронически-томный вид, ответил Юсупов, — я скромно заявил ему, что чувствую себя слишком малым, неопытным и неподготовленным для службы на административном поприще, но что я до нельзя польщен столь лестным обо мне мнением известного своею проницательностью Григория Ефимовича».

Мы все рассмеялись.

— C'est ravissant, mais c'est vraiment ravissant, [1]) — несколько раз воскликнул великий князь.

Перед самым концом нашего совещания нами было решено, в целях отвести подозрение шпиков, если таковые будут уведомлены Распутиным о месте его пребывания в вечер посещения им юсуповского дворца, еще сделать следующее: Распутин, как известно, постоянно кутит по ночам в Вилла Родэ с женщинами легкого поведения; в этом учреждении он считается завсегдатаем, своим человеком и хорошо известен всей прислуге; посему нами было решено, чтобы в момент, когда великий князь с поручиком С. отправятся после смерти Распутина на вокзал в мой поезд сжигать там одежду убитого, поручик С. из телефонной будки Варшавского вокзала позвонил в Вилла Родэ, вызвал заведывающего этим учреждением и спросил: прибыл ли уже Григорий Ефимович? Здесь ли он? И в каком кабинете?

---

1) Это восхитительно.

Дождавшись ответа, — само собой разумеется должен был последовать отрицательный,—С. кладет трубку, но предварительно, как бы про себя, у трубки и так, чтобы его слышал заведывающий Вилла Родэ, произносит: „Ага! Так его еще нет, ну, значит, сейчас приедет!“

Проделать это мы признали необходимым на случай, если бы нити исчезновения Распутина привели бы сыск ко дворцу Юсупова.

У нас был готовый ответ: да, Распутин был здесь, провел с нами часть вечера, а затем заявил, что едет в Вилла Родэ.

Естественно, что судебные власти обратились бы к администрации Вилла Родэ с вопросом: был ли здесь Распутин, и сразу выяснилось бы, что его здесь ожидали, что о нем осведомлялись, что спрашивали, когда он приедет, и если Распутин не приехал, а исчез, то это вина не наша, а самого Григория Ефимовича, который, очевидно, избрал себе сотоварищем для кутежа человека, ни нам, ни полиции, неизвестного.

Расходясь, мы решили назначить выполнение нашего плана в ночь с 16 на 17 декабря и, во избежание могущих возникнуть подозрений, собраться еще лишь один раз опять у Юсупова 13 или 14-го декабря, сговорившись между собою по телефону словами: „Ваня приехал“.

4 декабря.

Сегодня утром получил записку от редактора „Исторического Вестника“, милейшего Б. Б. Глинского, с просьбой непременно прибыть на заседание об-ва „Русской Государственной Карты“, коего я состою председателем, а он товарищем председателя.

Заседание состоится завтра, в 8½ час., в экономическом клубе на Самсониевской. Я ответил Глинскому, что непременно буду

Невольно, при чтении записки Глинского, припомнилась мне история возникновения этого об-ва, мною созданного при обстановке, в высшей степени трудной.

Бог мой! С какими муками рождаются в России чистые, хорошие, национальные, патриотические учреждения. Попробуй начать что-либо кадеты, русская власть, из боязни прослыть ретроградом, дает жизнь самым нелепым, самым анти-государственным учреждениям и организациям, а постучись к этой же власти правый, которого вообще труднее раскачать к деятельности, чем левого, и, кроме препон, препятствий и палок в колеса, такой правый ничего другого у правительства не найдет. Стоит вдуматься в то, что проделывают с народом, перевоспитывая его на свой лад хотя бы „лигой образования", ее учебниками, ее учителями, кадеты, эта вреднейшая партия в России, этот вечно тлеющий очаг русской революции. И что же? Борется ли с этим правительство? Ничего подобного! А если и борется, то только мертвыми циркулярами министерства просвещения; живой воды от него не жди, а между тем в характере народного образования в государстве таятся зерна как его расцвета, так и его гибели; зато с каким остервенением взялась русская правящая власть кромсать и калечить устав созданного мною Филаретовского об-ва народного образования, целью коего я наметил активную борьбу делом, а не словом с растлевателями лиги образования, для которых образование народа не есть цель, а лишь средство к достижению преступной цели—революционализации народных масс. И так всегда, всюду и во всем. Чего стоило мне проведение устава об-ва Русской Государственной Карты после победоносной войны.

Казалось бы, что может быть более патриотичного, более отвечающего моменту! Ан, нет! Месяцы проходили в канцелярской волоките, и правительственное veto [1]) Дамокловым мечом повисло над моим проектом,

[1]) Запрет.

а между тем вся Германия покрыта сетью об-в подобных тому, которое я задумал, хотя там они неизмеримо менее необходимы, чем у нас в России, ибо германское правительство и, в частности, министерство иностранных дел в Германии, национальны, а наши правители и зевсы, восседающие на Мойке со времени Нессельроде, за редкими исключениями, давно забыли о том, какой они национальности и чьи интересы представляют, заботясь лишь о красоте стиля, à-la Горчаков, своих нот и дипломатических бумаг, художественно выполняемых на французском языке не без перцу билибинского остроумия.

Россия и русские интересы у них на заднем плане, и любой англичанин или немец, а сейчас уже и японец, подкурив русскому дипломату, как следует, могут обвести его вокруг своего пальца и заставить поступиться насущнейшими интересами и потребностями России в любой момент.

Как сейчас, помню мой визит к Штюрмеру на острова летом (он жил в Елагином дворце по должности премьер-министра) в один из моих приездов в Петроград с фронта.

Штюрмер принял меня дружески, но скривил невероятную рожу, когда я ему объяснил, с нужною осторожностью, чтобы не задеть нашего министерства иностранных дел, цель и задачи проектируемого мною об-ва.

„Германия,—заявил я Штюрмеру,—покрыта сетью аналогичных учреждений; задача каждого из них нарисовать народу карту будущих границ Германии с севера, юга, востока и запада, в случае победоносного окончания ею войны".

„Общество, которое я создаю, и в которое войдут писатели, ученые, публицисты, профессора всех партий и направлений, будет также иметь целью нарисовать русскому народу будущую карту России и обосновать исторически, географически и этнографически ее возможные границы, дабы в момент заключения

нами мира русский народ понимал бы, чего он имеет право требовать, а русская дипломатия могла бы в своих притязаниях на ту или другую территорию опираться на волю русского народа, принесшего столь большие жертвы отечеству в годину брани и имеющего, в силу этого, нравственное право быть сознательным вдохновителем русской дипломатии, которая, опираясь на волю народную, может говорить тверже на мирном конгрессе, увереннее и с тою властностью, которая должна быть присуща представителям России".

Штюрмер слушал меня, и когда я кончил, заявил: „конечно, В. М., это об-во не может принести вреда, хотя явится, как бы, органом контроля в момент мирных переговоров наших над дипломатическим ведомством, мною возглавляемым, но и существенной пользы от такого общества я не вижу. Дело в том, — добавил он мне многозначительно,—что я, как министр иностранных дел, вызвал уже к себе профессора Дмитрия Ивановича Иловайского и просил его набросать мне схему наших территориальных приобретений на Западе, дабы явиться во всеоружии в дни мирных переговоров".

Как ни серьезен был предмет нашего разговора, но при упоминании имени Д. И. Иловайского, которому Штюрмер уготовил место нимфы Эгерии при своей особе по иностранным делам, я не мог не улыбнуться. И в самом деле, можно ли себе представить роль, более жалкую роли русского уполномоченного на будущем мирном конгрессе, натасканного 80-летним Д. И. Иловайским, почти впавшим уже в детство от преклонных лет и, естественно, совершенно неспособным ориентироваться в современной европейской конъюнктуре, и в той роли, которую должна занять Россия, как славянская держава, среди народов Европы по окончании мировой войны.

Мы расстались с Штюрмером холоднее, чем встретились, и лишь несколько месяцев спустя, благодаря

содействию товарища моего по Думе и моего приятеля, министра внутренних дел А. Н. Хвостова, я добился утверждения устава моего об-ва „Государственной Карты", которое и оказалось в высшей степени жизненным, заинтересовав собою виднейших представителей нашей общественной и политической мысли всех направлений.

Вот что припомнилось мне при чтении приглашения Глинского приехать завтра на заседание общества...

Весь день ездил по делам снабжения моего поезда, который должен прибыть в Румынию в блестящем виде, ибо, говорят, наша армия там нуждается решительно во всем.

Достал: сапоги для солдат, благодаря содействию принца Ольденбургского; ценнейшие медикаменты, которые передали мне американцы; массу белья, раздобытого графиней Мусин-Пушкиной, и, наконец, приобрел еще для вагона-библиотеки целую серию русских и иностранных классиков и библиотеки для солдат, которые раздам по полкам нашим воинам на чужбине.

Возвратился домой поздно невероятно уставшим, но бесконечно счастливым удачей всех моих в этой области начинаний.

Вечером, по обыкновению, читал оды Горация в подлиннике, в коих каждый раз нахожу все новые и новые красоты. Он положительно никогда, мне кажется, неспособен прискучить.

Что за прелесть, например, ода:

Odi profanum vulus [1]) или, O navis referent in mare te novi fluctus. [2]).

Какая жалость, что латинский язык, этот язык богов, в таком загоне в нашей средней школе!

---

[1]) Ненавижу невежественный народ.
[2]) О, корабль, новые волны несут тебя в море.

5 декабря.

Утром заехал, как всегда, в Государственную Думу получить почту, ибо, если просрочить два-три дня то набирается столько писем со всей России, что не успеваешь в них толком разобраться, и подчас дельное пробегаешь не с должным вниманием.

Разговорился с членом Государственной Думы графом Капнистом, шедшим на заседание какой-то думской комиссии.

По обыкновению, вопрос коснулся того, что составляет сейчас ужас России — политики Протопопова.

— „Нет, граф, — заметил я, — я все-таки удивляюсь не тому, что Протопопову предложен был пост министра внутренних дел, а тому, что он его принял, ведь как никак он кажется человек с мозгами и должен же понять, что не ему с его административным опытом вести в такое время управление русского государственного корабля".

— „Вы плохо его знаете,— заметил с живостью Капнист. — Во-первых, он крайне самонадеян, а во-вторых, честолюбив. Представьте, что он мне сказал на днях в ответ на мой ему попрек, что он не у места.

«Да,— говорит,—тебе хорошо говорить, ты граф, ты Капнист, ты богат, у тебя деньги куры не клюют, тебе нечего искать и не к чему стремиться; а я в юности давал уроки по полтиннику за час, и для меня пост министра внутренних дел—то положение, в котором ты не нуждаешься».

— А,—добавил Капнист,—как вам нравится такая идеология?

Я пожал плечами: «Пошляк! считающий, повидимому, что министерские посты должны быть уделом пробивающих себе дорогу, вне зависимости от их талантов, и что они должны являться компенсацией некогда судьбою обойденным».

Днем заезжал на Мойку в склад белья импера-

рицы, находящийся в ведении жены военного министра Сухомлиновой. Дело в том, что в головных отрядах моих на фронте устраиваются бани для солдат, и поэтому, сколько белья ни возьми из Петрограда, все это оказывается мало.

Я не выношу Сухомлинову, эту, по моему, международную авантюристку типа Марии Тарновской; но дело прежде всего и, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Полгода тому назад сестра моя, работавшая в складе императрицы в Зимнем дворце и отказавшаяся от работы только после того, как разговорным языком там стал почти исключительно немецкий, посоветовала мне обратиться к заведывающей складом княжне Оболенской с просьбой дать мне известное количество белья.

Я последовал ее совету и, по указанию княжны Оболенской, послал телеграмму императрице Александре Федоровне, в коей изложил мою просьбу, но, как и следовало ожидать (я расчитывал, что дело обойдется без императрицы и ограничится простым распоряжением Оболенской), Александра Федоровна, которая меня терпеть не может, в просьбе моей отказала, о чем я и получил ответ через графа Ростовцева.

Ответ очень обидный, ибо в нем было сказано, что императрица своими курьерами посылает периодически белье в армию.

Я мысленно назвал себя дураком за то, что обратился, хотя и не для себя, с просьбой к Александре Федоровне: курьеры, которые действительно развозят белье по армиям, раздают его тыловым армейским учреждениям, которые по горло всем снабжены в ущерб босому и голому фронту, снабжением исключительно коего я занимаюсь, рассылая и развозя медикаменты, белье, сапоги, табак и книги по окопам.

У Сухомлиновой на Мойке работает целый муравейник девиц и дам. Работа, видимо, спорится, но что скверно, так это то, что тут же, в качестве адъютан-

тов, неведомо для каких поручений, примостилось NN-ое количество тыловых прапоров ускоренного выпуска из богатых семейств всяких званий; все это ходит в защитных френчах, пороху никогда не нюхало и нюхать не будет.

По временам в этот склад в кургузой тужурке, петанлерчиком, чином сходит военный министр Сухомлинов, находящийся, очевидно,—сужу по манере обращения с ним его жены,—в бесконечном ей подчинении и решительно на все смотрящий ее глазами.

Раздобыв белья у Сухомлиновой, проехал к принцу Ольденбургскому по весьма важному вопросу: русская армия в последнее время на всех фронтах несла большие потери от немецких удушливых газов; я выяснил на фронте одну из причин этого ужасного явления: она заключается в том, что почтенное интендантство наше периодически посылает в полки противогазовые маски Зелинского в обрез, т.-е. по числу солдат в полку, не давая возможности полкам иметь хотя бы самый минимальный излишек масок, в качестве запаса.

В результате получается следующее: полк в составе 4000 штыков получил сегодня, допустим, 4000 предохранительных масок, которые и поступили, как предмет обмундирования, ко всем рядовым. На завтра бой. Полк потерял на поле сражения треть или четверть своего состава. Через неделю пришло пополнение, снабдить его масками полк не может, а на просьбу о снабжении полкового командира сверху, справившись по своим ведомостям, отвечают, не считаясь с боевою деятельностью полка за это время: «Ваш полк такого-то числа снабжен полностью противогазовыми масками и дать больше сейчас не можем иначе, как в ущерб другим частям». Сегодня пришла бумага, а завтра немцы, выпустив ядовитые газы, истребляют пришедшее в полк пополнение, не имеющее масок.

Принц А. П. Ольденбургский отнесся в высшей

степени сочувственно к изложенному мною, обещал исхлопотать мне для раздачи, где нужно, на фронте 25.000 масок Зелинского и, независимо от того, указать интендантству, чтобы впредь в полки посылалось масок с расчетом на пополнение каждого полка.

Лишь в 7 часов я возвратился домой, пообедал и в 8½ час. входил на заседание О-ва русской Государственной Карты.

Глинский хотел мне, как председателю общества, уступить председательство на заседании, но я отказался. Как человек слишком определенных политических взглядов, называемых крайними правыми, я не люблю отпугивать своею особою от создаваемых мною учреждений людей умных, полезных, но недостаточно политически мужественных, и посему, выполняя всю черную работу в том деле, которое я создаю, я первое место и казовую роль всегда предоставляю людям, которые хотят и могут работать, но политическая окраска коих не столь определенна и ярка, как моя; и чуждый мелкого честолюбия, я вижу, как дело, мною созданное, двигается, не отпугивая, а притягивая к себе других полезных и нужных людей.

Сегодня, в виду соединенного собрания секций Общества по персидской, турецкой, австрийской и германской границам, собралось очень много народу. Я застал А. А. Башмакова, Д. И. Вергуна, профессора Ф. И. Успенского, профессора Жилина, А. Ф. Васильева и много незнакомых мне лиц статских и военных в генеральских погонах, фамилии коих я так и не узнал. Дело в том, что председателями секций кооптируются в каждую нужные люди, активные работники и знатоки вопроса, и упомнить всех представляется затруднительным.

Заседание затянулось. Было крайне интересно, но чего я не люблю, так это привычек некоторых из наших знатоков произносить длинные речи по вопросам, ясным для всех присутствующих, с исключительною целью блеснуть своею осведомленностью.

Удивительно создан русский человек, средний русский человек, делающий историю России; он никогда не может добиться положительных, реальных результатов, предпринимая что-либо, ибо всего ему мало, и он вечно вдается в крайности. В России нет лучшего способа провалить какое-нибудь дело, прочно и хорошо поставленное и твердо обоснованное, как предложить нечто большее тому, что намечено к осуществлению. Толпа, и даже не простая, а интеллигентная толпа, непременно ухватится за «благодетеля», внесшего свой корректив в разумное, осуществимое, но в сравнительно скромное предложение, и все пойдет к чорту.

Вот уже действительно le mieux [1]) у нас в России est l'ennemi du mal [2]). И Гракхи с первых же шагов были бы забросаны у нас каменьями. Стоило послушать только, что говорил сегодня на заседании известный славянофил, дядька Черномор, как я его называю, длиннобородый А. Ф. Васильев, чтобы понять, до каких абсурдов можно довести дело, отдай мы его в руки ученым теоретикам славянофильского лагеря. Когда Васильев заговорил о будущих русских границах на западе и стал проводить нашу с Австрией в будущем пограничную межу, и я, и многие из присутствующих буквально не могли удержаться от смеха, хотя он каждое территориальное приобретение наше старался так или иначе обосновать либо исторически, либо географически, либо этнографически.

— Афанасий Васильевич!—говорю я ему,—ведь вы рисуете прямо фантастические границы; нужно дать такую карту, которая была бы приятна русскому народу, но и приемлема для Европы и признана нашими союзниками, а ведь на то, что вы рисуете, может пойти только сумасшедший из них.

Он на меня воззрился: «Что нам, говорит, Европа,

[1]) Лучшее.
[2]) Есть враг худого.

ведь и здесь живут славяне, ведь и это исконное наше», и тычет пальцем по карте.

Председателю после часовой речи Васильева с трудом удалось остановить фонтан его политического блудословия и фантастических славянских грез, после чего заседание опять вошло в русло продуманного обсуждения наших пограничных линий на востоке и западе по проекту карт, составленных специалистами из числа членов общества.

В 12 час. ночи, до окончания заседания, я покинул его и возвратился домой.

7 декабря.

Начались заседания экстренного съезда объединенного дворянства.

Цель занятий: выработка и поднесение всеподданнейшего адреса государю, с указанием на грозную опасность, которой подвергается и династия, и Россия, вследствие влияния на все органы государственного управления безответственных темных сил, т. е., иначе говоря, Распутина и всей его придворной и чиновно-бюрократической клики. Жить становится с каждым днем все более и более невыносимо.

Государь совершенно не видит или не хочет видеть той пропасти, в которую толкает родину его злой гений—Александра Федоровна.

Я вслушиваюсь в речи дворян на собрании, которое чрезвычайно многолюдно, ибо вернулся в лоно обратно объединенного дворянства целый ряд губерний, отделившихся было раньше, вследствие принципиальных разногласий с советом объединенного дворянства по вопросам политического характера, и мне становится понятным все более и более, что адрес дворянства будет проникнут и чувством глубокой верноподданнейшей преданности и чувством достойной смелости, исключающей возможность звуков холопского раболепия и попыток затушевать горькую действительность.

Речи дворян на собрании полны достоинства, проникнуты глубочайшею скорбью и забвением всяких личных интересов сословия, считающего своим нравственным долгом, в это тяжелое время, сказать царю правду без обиняков, ту правду, которую видит и знает весь русский народ, но которую от царя скрывают льстецы, лицемеры и придворные холопы в расшитых золотом мундирах.

Председательствует на собрании князь Куракин, умный, дельный и проникнутый глубоким патриотизмом человек.

Диссонансов в речах почти не слышится, стушевались обычные типы, столь примелькавшиеся на очередных заседаниях объединенного дворянства, почитающие гвоздем его работы объединительный дворянский обед у Контана или у Медведя.

Не видно ни астраханского дворянина Сергеева, ни болтуна дворянина Павлова: они исчезли, стушевались, им здесь сегодня не место. ибо дворянство не просит ничего для себя, не говорит о своих нуждах и сословных интересах, а, как первое сословие империи, идет к царю от имени его народа, с целью оберечь самого царя, как первую святыню русской государственности.

Я редко видал большее единодушие, чем наблюдаемое мною на знаменательном, историческом сегодняшнем съезде.

Граф А. А. Бобринский, этот осторожный политик, тонкий, умный и честный придворный человек, и проницательный В. И. Гурко говорят одинаковым языком со скромным дворянином из далекого медвежьего угла России, приехавшим с накопившимся чувством душевной боли и горечи.

Да, дворянство не умерло, как ни хоронят его перья газетных писак кадетского лагеря, и не может быть того, чтобы царь не внял голосу своих слуг, с риском для себя идущих к нему с горькими словами неприкрашенной верноподданнической правды.

Редкие голоса протеста общему настроению вызывают гадливое чувство к говорящим, которые, очевидно, и в данное время хотят что-либо заполучить для себя, подыгрываясь к тем темным силам, против которых ополчается дворянство, в полном единении со всем русским народом.

Речь сенатора Охотникова, выступившего в такой роли порицателя дворянских настроений, встречена была глубоким молчанием собрания, раскусившего, что в Охотникове говорит холоп, а не верноподданный честный царский слуга.

Я слушал его, когда он говорил, и зная этого „финансиста“ по акцизу и многие темные стороны его деятельности в прошлом, с омерзением вглядывался в эту бритую физиономию, поучавшую дворянство понятиям долга, чести и верноподданнейшей преданности.

Превосходно говорил В. Гурко, не без ноты, но дельно гр. Олсуфьев и гр. Мусин-Пушкин.

Во время перерыва я записался, намереваясь также коснуться некоторых положений проекта адреса, составленного специальной комиссией из членов совета объединенного дворянства и представителей губерний.

В конце речи своей я хотел переименовать лиц, которые могли бы с честью в данное время занять ответственные министерские посты; но В. Гурко, которому я сообщил о своем намерении, испуганно схватил меня за рукав и стал просить, боже упаси, этого не делать: „Ведь вы знаете, результаты получатся как раз обратные: государь подумает, что мы его хотим учить, и перечисленные вами лица, вместо того, чтобы стать у власти, сразу попадут в разряд политических мертвецов с похоронами по первому разряду. Вы знаете, царь терпеть не может указаний; ради Бога, в интересах дела, откажитесь от своего намерения“.

Я согласился с ним и, подойдя к председательскому столу, вычеркнул свою фамилию из списка ораторов.

После незначительных прений, после перерыва, проект всеподданнейшего адреса, прочтенный князем

Куракиным под гром аплодисментов, не смолкавших, по крайней мере, пять минут в зале, был с самыми небольшими изменениями принят всем собранием, голосовавшим по губерниям, и дворяне стали расходиться молча с сознанием честно исполненного большого патриотического долга.

Во время самого голосования адреса внимание мое привлекла одна фигура, нравственная физиономия коей стала предо мною на этом собрании во весь свой неприглядный рост. Это фигура новооскольского, Курской губернии, предводителя дворянства, блестящего современного поэта-памфлетиста Мятлева.

Кто из проживающих в Петрограде, посещающих великосветские салоны и гостиные, не списывал порою там для себя того или другого модного стихотворения Мятлева, затрогивавшего всегда очень зло и остроумно русские общественные и политические болячки и не щадившего в своих стихотворениях даже царя.

„Как... вы не читали последнего стихотворения Мятлева?!.“ удивленно спрашивают вас обыкновенно X, У, Z, и немедленно кто-либо из присутствующих в салоне вынимает из записной книжки клочек бумаги с последним из произведений поэта, преимущественно памфлетического характера.

„Вот,—говорят вам,—спишите для себя“, и вы тут же списываете стихотворение, которое ходит по рукам анонимкой и облетает не только весь Петроград в кратчайший срок, но весьма быстро и всю Россию.

Резко и зло бичует сатира Мятлева все то, что считает достойным своего внимания, выставляя порою в крайне смешном виде и не щадя самого императора.

Последнее обстоятельство всегда меня до нельзя раздражало, ибо, по моему крайнему разумению, царь не может фигурировать в сатирических произведениях, как бы талантливы они ни были, ибо это затрогивает престиж того, кто в глазах народа должен стоять на высо о : пьедестале, и чье имя не может трепаться в балагане. Так думал я раньше, так думаю и сейчас.

„Дерзкий и наглый человек", думал я о Мятлеве в то время, как окружающие меня при чтении его произведений произносили: „Как ловко пишет", или — „отделал, бестия, ну и смельчак!" И вот сегодня, на дворянском съезде, я увидел, что из себя, в нравственном смысле, представляет этот „смельчак", поэт Мятлев: явившись на съезд в роли курского губернского предводителя, в виду отсутствия милейшего князя Л. И. Дундукова-Изъединова, Мятлев, почувствовав, что принятие адреса Курскою губернией делает его более всего ответственным за голосование вследствие занятого им случайно положения, стал прилагать все усилия к тому, чтобы курское дворянство высказалось против принятия адреса отредактированного специальной комиссией дворянского съезда, ибо по мнению ег[illegible], Мятлева, дворянство таким языком царю говорить не может.

Я положительно ушам своим не верил, видя его мятущимся среди своих дворян и упрашивающим их не присоединяться к другим губерниям, единодушно высказавшимся за адрес.

„Так вот ты кто!—с гадливым чувством повторил себе я,—из-за угла, анонимно в памфлетах высмеивать царя и трепать его имя ты считаешь возможным, а здесь возвысить свой голос со всем дворянством открыто, честно и прямо не по тебе. Холоп,—думал я,—дрожащий за свои камергерские штаны и боящийся утерять свой камергерский ключ, и когда? в такое время!.."

9 декабря.

В городе передаются самые фантастические слухи о переменах на высших правительственных постах. Сегодня приезжал в Думу, где по рукам уже ходит телеграмма, посланная, как говорят, Распутиным императрице Александре Федоровне, пребывающей в ставке; апокриф-ли эта телеграмма, или действительно существует такая, но из уст в уста передается ее текст: „пока Дума думает да гадает, у Бога все готово: первым будет Иван, вторым назначим Степана". Объясняют

это так: Щегловитов намечается Распутиным на пост премьера, и Белецкий министром внутренних дел. Так ли это или нет, увидим в ближайшем будущем. Все может быть, ибо каждый день приносит нам все новые и новые сюрпризы.

Алéксандра Федоровна распоряжается Россией, как своим будуаром, но назначаемые на министерские посты, благодаря ей и Распутину, люди чувствуют себя настолько непрочно, что даже не переезжают на казенные квартиры, а остаются на своих частных.

Наше время напоминает страницы царствования Павла Петровича: никто не может быть уверен в завтрашнем дне, и люди, взысканные милостью сегодня, завтра могут очутиться на улице.

Я не в состоянии без боли видеть все это и мысленно задаю себе вопрос: „неужели государь не в силах заточить в монастырь женщину, которая губит его и Россию, являясь злым гением русского народа и династии Романóвых? Неужели государь не видит, куда она толкает нас? Как дискредитирует она монархический принцип и позорит самое себя, будучи, в чем я уверен, чистой в отношениях своих к Распутину, который сумел околдовать ее лишь на религиозной почве". А что говорят! „Царь с Егорием, а царица с Григорием", вот что собственными ушами я слышал вчера в группе молодых солдат, проезжая по Загородному, мимо казарм Семеновского полка. Каково это слышать нам, монархистам, а можно-ли наказать пошляка, балагура, говорящего вслух о том, что молча с горечью наблюдают все.

Боже мой! Чем бы я ни занимался, где бы я ни был, с кем бы я ни был, о чем бы я ни говорил,— червем точит меня мысль везде и всюду: жив он—этот позор России, каждый час можно ожидать какой-либо новой неожиданности, каждый день он марает все более и более царя и его семью. Уже грязная клевета черни касается, на этой почве, чистых и непорочных великих княжен—царских дочерей, а этот гад, этот

хлыст забирает что день, то больше и больше силы, назначая и смещая русских сановников и обделывая через шарлатанов, в роде Симановича и князя Михаила Андронникова, свои грязные денежные дела.

Все то чистое и честное, что по временам дерзает возвысить свой голос у царского трона против него, подвергается немедленной немилости и опале. Нет того административного поста, как бы высок он ни был, который гарантировал бы безопасность вельможе, дерзнувшему указать царю на недопустимость дальнейшего влияния Распутина на ход русской политики и государственных дел. Где честнейший и благороднейший А. Д. Самарин, занимавший пост обер-прокура святейшего синода? Он уволен. Он оказался не на месте, ибо не мог мириться с ролью исполнителя распутинской воли; не мог терпеть на епископских постах монахов в роде Варнавы, Мардария и Путяты, и на место его посажен через Распутина какой-то директор женских курсов Раев, темная и совершенно неизвестная личность, а в помощники ему для вершения дел церкви, теми же путями, прошел юродивый князь Жевахов, вся заслуга коего в том, что он успел понравиться Елизавете Федоровне своей брошюркой о святителе Иосафе Горденко, доводящемся Жевахову каким-то дальним родственником по отцовской или материнской линии.

Где начальник дворцовой канцелярии князь Владимир Орлов? Он высказался против Распутина и должен был немедленно покинуть двор.

Где генерал В. Ф. Джунковский? Его постигла та-же участь, несмотря на тесную близость его к царю.

Где флейлины княжны Орбелиани и Тютчева, бывшая столько лет воспитательницей великих княжен?

Их нет при дворе, ибо они дерзнули поднять свой голос против Распутина.

В силе лишь тот, кому покровительствует этот гад, и, само собою разумеется, первое место поэтому при

дворе занимают Мессалина Анна Вырубова и прощалыга-аферист дворцовый комендант Владимир Воейков.

Государь попал совершенно под влияние своей супруги; он считает вмешательством в свои семейные дела всякое напоминание ему со стороны вернейших и честнейших его слуг о тлетворной роли Распутина при дворе. Бог мой, как я понимал при чтении воспоминаний Бисмарка его ненависть к императрице—жене Вильгельма.

Бывший министром путей сообщения Рухлов мне как-то говорил, что, когда однажды он, во время своего доклада в Царском Селе царю, коснулся имени Распутина в связи с каким-то вопросом, государь немедленно перестал его слушать, стал барабанить пальцами по столу и, обернувшись лицом к саду, начал напряженно смотреть в окно.

Рухлов тотчас же понял, что дальнейший разговор в этом направлении может для него плохо окончиться и, прервав доклад по поднятому вопросу, связанному с именем Распутина, перешел к другому.

Честность, порядочность, идейность, самоотверженность сейчас не ставятся ни в грош, и у власти могут находиться лишь те, которые в лучшем случае способны закрыть глаза на все проделываемое Распутиным и готовы беспрекословно исполнять приказания его чудовищно-безграмотных записок, рассылаемых день за днем в огромном количестве по всем ведомствам и административным учреждениям Петрограда, начиная от министров и кончая мелкими чиновниками.

Неисполнение воли Распутина, излагаемой в ультимативном тоне, влечет за собою, в ближайшем будущем, месть хлыста строптивому чиновнику и назначение на его место другого, послушного, податливого и неспособного сопротивляться его воле.

Императрица Александра Федоровна, глядящая на все, на всех и на вся глазами Распутина, делит служащих во всех правительственных учреждениях на две группы: „наши“ и „не наши“.

Первая поощряется всеми мерами, вторую исподволь сплавляют, замещая опростанные места „нашими".

Принц А. П. Ольденбургский рассказывал на днях, на что он напоролся в ставке, куда ездил с докладом к государю: прибыв в Могилев, он пожелал быть принятым молодой императрицей, проживающей в дни пребывания своего в Могилеве не во дворце с императором, а в своем поезде на вокзале.

Принц не мог быть принят царицей, ибо она еще спала, несмотря на сравнительно поздний час.

Осведомившись о причине того, почему императрица почивает и не больна-ли она, принц получил ответ, что ее величество здорова, но вчера до глубокой ночи занимались с А. С. Вырубовой государственными делами. Заинтересовавшись, что именно сейчас беспокоит императрицу, старик-принц узнал, что Александра Федоровна с фрейлиной Вырубовой отмечали добрую половину ночи плюсами и минусами по адрес-календарю чинов петроградского бюрократического мира, разделяли их на своих сторонников и на противников.

Честный и благородный принц долго не мог прийти в себя от изумления и горечи, удостоверившись, что сообщенное ему было неоспоримым фактом.

Что ждет нас завтра? Вот вопрос, который в праве поднять всякий мало-мальски вдумывающийся в причины той политической арбакадабры, которая царит сейчас в России. Я лично впереди просвета не вижу никакого, ибо воля государя скована, а при этом условии не может быть никакой устойчивости в политическом курсе, и это ярко и выпукло понял я из одного факта, сравнительно мелкого, но в высшей степени характерного.

3-го ноября, во время доклада моего государю в Могилеве о всем том, чего я свидетелем был на румынском фронте, в районе Рени, Браилова, Галаца, характеризуя обстановку, я остановился на деятельности адмирала М. М. Веселкина, в течение почти двух лет войны занимавшего крупный военно-адми-

нистративный пост в этом районе, ставшего большим знатоком создавшейся здесь у нас военной обстановки и проявившего недюжинный административный талант и кипучую энергию по снабжению наших войск всем необходимым, что было крайне ценно, т. к. румыны, вступив с нами в союз, перед самым объявлением войны центральным державам, решив, что мы их снабдим нужным, продали с большим для себя барышом решительно все, что имели как в смысле продовольствия, так и в смысле военного снаряжения... Австрии, расчитывая, что от нас получат необходимое; в результате этой их финансовой операции у них в Румынии стало хоть шаром покати, и русские армии оказались в безвыходном положении, которое усугублялось вспыхнувшей, вдоль устья Дуная, холерой и ужасающим состоянием одноколейного, поляковской постройки, железнодорожного пути по русской территории, совершенно неприспособленного к выполнению задач военного времени и не удовлетворявшего самым минимальным запросам продовольственного, военного, санитарного и перевязочного характера наших армий, которые нуждались, живя в полуодетом, полуобутом и полуголодном состоянии.

Веселкин работал здесь, не покладая рук и днем и ночью, вникая решительно во все, чуждый буквоедства, формализма и канцелярщины; и не один десяток тысяч русских солдат, приезжавших сюда в изможденном от голода виде, был обязан ему духовной и физической поддержкой.

Невероятный ругатель и сквернослов, как большинство русских моряков, но человек бесконечно доброй души и отзывчивый, Веселкин принимал героические меры к снабжению наших армий всем необходимым, а необходима была даже телефонная проволока для связи наших штабов, ибо подлецы-румыны даже всю свою проволоку запродали накануне вступления с нами в союз своим будущим противникам.

Веселкин говорил мне в бытность мою в Рени, что собирается в Могилев к государю с целью доложить ему о безобразиях всего здесь происходящего, вследствие отсутствия нужных мостов через Дунай и не приспособленности железнодорожного пути, каковой может быть приведен в должный вид в кратчайший срок, если наши тыловые инженеры-юпитеры за это горячо примутся.

„Без этих мер,—добавил мне Веселкин,—нам на этом фронте успеха не добиться никогда".

Государь император, бывший в Рени задолго до моего пребывания здесь и видевший работу Веселкина, которого очень любил, оценил ее, что видно из слов его частной телеграммы императрице, о каковой телеграмме мне передавали в Рени местные почтово-телеграфные власти.

Государь телеграфировал Александре Федоровне так: „Видел Мишу Веселкина, он оказывает неоценимые услуги местному краю" и т. д., и т. д. Большая телеграмма государя царице, посланная из Рени, была частного характера и была подписана „Ники" или „Никс".

И вот в день доклада моего государю 3-го ноября, когда я описывал обстановку этого фронта и коснулся благотворной деятельности Веселкина, государь до нельзя оживился, был чрезвычайно доволен моею его характеристикой и, перебивая мой доклад, сказал:

„Да, да, я давно знаю Веселкина, это прекрасный, дельный администратор, на своем месте, в особенности при данной боевой обстановке, я очень его ценю и крайне им дорожу. Мне приятен ваш отзыв о нем".

Это было 3-го ноября в Могилеве, а 7-го того же ноября произошло следующее в Петрограде: в 11 час. утра я входил в Государственную Думу, направляясь в бюджетную комиссию, где происходило заседание.

На пути, в Екатерининском зале, навстречу мне идет морской министр И. К. Григорович, мы здороваемся, и с первых же слов последний спрашивает:

„В. М., вы давно с фронта и откуда?“

Едва я успел открыть рот и сказать „сегодня, с Румынского“, как Григорович, перебивая меня, хватает сочувственно за плечо и с горечью восклицает:

„Да? А бедный-то наш М. М. Веселкин“!

„Что такое?“—спрашиваю.

„Уволен“,—уныло говорит мне Григорович.

„Не может быть! Зачем же вы это сделали?—восклицаю я, когда он там так полезен, так необходим, и государь, знающий о его работе, самого лестного о нем мнения“.

Григорович горько усмехнулся.

„В том-то и дело, что уволил его не я, и что морское министерство узнало об этом последним, а уволен он прямо со ставки вчера неведомо, по каким проискам и за что и на место его уже назначен адмирал Ненюков“.

„Послушайте,—говорю,—Иван Константинович, вы мне рассказываете что-то, поистине, несуразное: ведь государь еще 3-го ноября мне его хвалил“.

„Да,—заметил с ударением Григорович,—но ведь это было 3-го, а сегодня у нас 7-е, и вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что у нас в России сейчас оценка личности, в особенности стоящей на административном посту, совершается не по деятельности администратора, а происходит в зависимости от настроений в „сферах“.

Я вздохнул, пожал плечами, и мы расстались.

Можно-ли надеяться на какой-либо „курс“ в России, при наличности явлений, подобных этому?

10 декабря.

Слыхал сегодня, что главноуполномоченный Красного Креста при ставке государя Кауфман-Туркестанский уволен со своего места. Увольнение произошло, говорят, на почве распутинских интриг, ибо императрица Александра Федоровна крайне возмутилась тем, что Кауфман не только сочувственно ото-

звался государю о моей речи 19-го ноября, но и привез стенограмму ее для прочтения его величеству.

11 декабря.

Сегодня заезжал в Думу с целью просить членов Думы осмотреть мой санитарный поезд перед отправлением его на Румынский фронт. Меня неоднократно просили многие из сотоварищей, наслышавшись, как они говорили, хорошего о моих отрядах на фронте, ознакомить их с постановкой у меня дела.

Я пригласил членов Думы пожаловать на Варшавский вокзал в 9 час. утра 17 декабря, когда я вечером собираюсь выехать на фронт.

Выбрал я этот день нарочно, ибо, если в ночь на 17 удастся благополучно покончить с Распутиным, то не может быть ничего лучшего, как через несколько часов после этого, как ни в чем ни бывало, показывать мой поезд большому числу людей, интересующихся делом, и иметь возможность отвлечь свои мысли от кошмара пережитой ночи.

Вопрос лишь в том, выдержат-ли мои нервы и смогу-ли я поспать хоть несколько часов в те часы ночи, которые останутся мне для сна, после кончины Распутина и перед посещением поезда членами Думы?

А поезд мой посмотреть стоит: я с гордостью и удовлетворением смотрю на результат моих хлопот по его снабжению, и мне сладко думать, что все это я раздам там, на позициях, на чужбине, родным героям: солдату и офицеру, стоящим на страже русской чести и проводящим бессменно третий год войны бок о бок в тесном братском единении друг с другом, неся равные лишения и живя в одинаковых условиях в суровых окопах.

12 декабря.

Сегодня был на заседании совета главного управления Красного Креста. Вот учреждение, поражающее

косностью: толковых всего лишь два или три человека и среди них Ордин и человечек себе на уме Чаманский, вертящий там всем и играющий первую скрипку, конечно, не без большой выгоды для себя.

Славный председатель Ильин спеленат, как младенец, и на положении не то бонзы, не то Далай-Ламы, остальные частью статисты, на ролях свадебных генералов, а частью просто превосходительная шантрапа, привыкшая считать за дело только бумагу под номером и чуждая всякой отзывчивости живому и великому делу милосердия.

Чего стоит одна лишь фигура барона А. Ф. Майндорфа, с которого песок сыпется уже, повидимому, лет 20, и который тем не менее, в совете Креста, все еще на положении активного деятеля.

Просидел я с полчаса, прослушал бесконечные дебаты о том, дать ли или не дать пособие в 40 руб. сестрам Х., У., Z. Меня стошнило от этой деловитости, и я уехал.

13 декабря.

Сегодня утром звонок в телефон: „Ваня приехал", значит, мы собираемся.

В 10 час. я был у Юсупова, куда приехал с д-ром Лазавертом. Дмитрий Павлович и поручик С. были уже там.

Юсупов доложил нам, что Распутин согласился приехать к нему 16-го вечером, и что все идет в этом отношении превосходно.

Мы вновь повторили друг другу выработанный нами план действия, решив, по смерти Распутина, бросить труп его в Старую Невку, где место уединеннее в ночные часы, чем вдоль канала, идущего от Фонтанки к Царскосельскому вокзалу.

В добавление к раньше нами намеченному, мы решили поставить большой граммофон в тамбуре, ведущем из гостиной князя, находящейся на верху к его столовой, куда по приезде, прямо должен пройти

Распутин, помещающейся как я уже сказал, в полуподвальном этаже дворца.

Граммофон будет поставлен у витой лестницы рупором к ней, и в момент прибытия Распутина во дворец граммофон будет заведен ибо, хотя граммофон и слабое, и приевшееся развлечение, но, тем не менее, развлечение; игрой его будут достигнуты две цели: во-первых, Распутин может подумать, что собравшееся на верху дамское общество слушает музыку, и вследствие этого молодая графиня, знакомства с коей он так жаждет, не может к нему тотчас же сойти, а во-вторых, игра граммофона могла бы заглушить наши голоса, если бы мы прослушали стук подъезжающего автомобиля и продолжали бы громко беседовать между собою на верху.

Закусив и выпив чаю, в 11 час. мы разъехались по домам, при чем Юсупов, перед самым моим отъездом, вынул из письменного стола средней величины двухфунтовую каучуковую гирю, подобную тем, коими делают ручную комнатную гимнастику.

„Как вам это нравится?“—спросил он меня.

„А для чего вам это?“

„Так,—заметил он многозначительно,—на всякий случай, этот подарочек я получил от В. А. Маклакова; мало ли что случится!“

„Н-да!“—протянул я.

Мы распрощались, и я уехал.

14 декабря.

Сегодня, в виду предстоящего отъезда на фронт, я перевез мою семью в поезд, ибо на время рождественских каникул сыновей моих беру санитарами, а жену мою, прошедшую уже курсы сестер милосердия и все прошлое лето состоявшую старшею сестрою на одном из головных пунктов моего отряда, беру работать в качестве сестры милосердия на том перевязочно-питательном пункте, который я разверну в Ру-

мынии. Переезд их занял у меня сегодня большую половину дня.

После обеда я распрощался окончательно с моею городской квартирой и занял обычное купэ в вагоне моего санитарного поезда.

15 декабря.

Д-р Лазаверт, купив кисть и краску защитного цвета, весь день сегодня, облачившись в кожаный фартук, провозился над автомобилем, который будет служить нам завтрашнюю ночь и привезет высокого гостя.

На всех автомобилях моего отряда большими красными буквами стоит написанным мой девиз: „Semper idem". [1]). Приходится замазывать надпись, ибо, в противном случае, по этой надписи нити следствия сразу привели бы судебные власти, при случайно неудачливом обороте дела, к Юсуповскому дворцу и к моему поезду.

К вечеру автомобиль оказался в порядке. Завтра придется лишь поднять на нем верх и заблаговременно отпустить по квартирам в город шоферов, под предлогом дать им попрощаться с семьями перед отъездом, назначенным мною на 17-е декабря вечером, а в сущности освободиться от их назойливого любопытства и расспросов о том, куда едет д-р Лазаверт поздно ночью, не желая пользоваться их услугами. И без того сегодня, когда он возился у автомобиля, поездная прислуга, окружив его со всех сторон, то и дело спрашивала его, зачем он вымарывает надпись. Лазаверт очень удачно отбрехался: „Как тронемся в путь, ребята,—сказал он им,—опять надпишем по старому и будет так, как было, а завтра, ночью, еду кутить с [illegible] — и он подмигнул, — а потом кататься на острова, и нельзя, чтобы видели автомобиль генерала, т.-е. мой, в такой час в непод-

[1]) Всегда тот же.

ходящем месте". Любопытные этим удовлетворились и успокоились.

16 декабря.

Сейчас 7 час. вечера. Я весь день не выезжал в город, а сидел и читал у себя в купэ, ибо распоряжаться уже нечем—поезд готов к отъезду, а видеть посторонних людей мне противно.

В 8½ час. на трамвае поеду на малое заседание городской думы, где просижу, чтобы убить время, до без четверти 12 ночи, когда к думской каланче должен подъехать Лазаверт, одетый шоффером, с пустым автомобилем, и отсюда я сев в него поеду во дворец Юсупова.

Я чувствую величайшее спокойствие и самообладание. На всякий случай беру с собою стальной кастет и револьвер мой, великолепную вещь, системы „Sauvage"; кто знает, может быть, придется действовать либо тем, либо другим.

Не знаю почему, но у меня весь день сегодня вертится в голове стих оды Горация:

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi,
Finem di dederint.. Leuconoe! [1]).

Да! Но только там дело шло совсем о другом, а наша Левконоя несколько иного сорта..., да! Scire nefas! [2]). А впрочем, ждать не за горами...

18 декабря.

Глубокая ночь. Вокруг меня полная тишина. Плавно качаясь, уносится в даль мой поезд. Я еду опять на новую работу, в бесконечно дорогой мне боевой обстановке, на далекой чужбине, в Румынии.

[1]) Не спрашивай, не выпытывай, Левконоя, нам знать не дано, какой конец уготовили тебе и мне боги.

[2]) Знать не дано.

Я не могу заснуть; впечатления и события последних 48 часов вихрем проносятся вновь в моей голове, и кошмарная, на всю жизнь незабываемая ночь 16 декабря встает ярко и выпукло перед моим духовным взором.

Распутина уже нет. Он убит. Судьбе угодно было, чтобы я, а никто иной избавил от него царя и Россию, чтобы он пал от моей руки. Слава богу, говорю я, слава богу, что рука великого князя Дмитрия Павловича не обагрена этой грязной кровью—он был лишь зрителем и только.

Чистый, молодой, благородный, царственный юноша, столь близко стоящий к престолу, не может и не должен быть повинным, хотя бы и в высоко-патриотическом деле, но в деле, связанном с пролитием чьей бы то ни было крови, пусть эта кровь будет и кровью Распутина.

Как ни тяжело, но нужно постараться привести в порядок мои мысли и занести в дневник с фотографической точностью весь ход происшедшей драмы, имеющей столь большое историческое значение.

Как ни тяжело, но постараюсь воскресить события и занести их на бумагу.

В половине 10-го вечера 16 декабря я покинул мой поезд на Варшавском вокзале и на трамвае отправился в городскую думу.

Подъезжаю и вижу, что зал не освещен; швейцар сообщает мне, что заседание не состоялось за неприбытием законного числа гласных, а прибывшие, подождав, разошлись.

Братец, говорю, мне некуда деваться, открой мне кабинет товарища головы, дай бумаги, я напишу здесь несколько писем, пока приедет за мной мой автомобиль. Швейцар исполнил мою просьбу, и я около часа времени провел в писании писем некоторым друзьям.

Без четверти 11-ть, т.-е. ровно за час до того времени, как я назначил Лазаверту заехать за мной в

Думу, я запечатал последнее письмо и остался в нерешительности того, что мне делать: одеться и выйти на улицу с тем, чтобы там ждать автомобиль, было неудобно и могло вызвать какие-либо подозрения, ибо я был в военной форме, и могло показаться странным, что в двенадцатом часу ночи стоит без всякого дела на панели в военной форме озирающаяся фигура.

Я решился оставшееся время провести у телефона и, вызвав приятельницу мою, артистку N, проболтал с нею до начала двенадцатого.

Дальнейшее пребывание в Думе было, однако, неудобным и я, одевшись, когда часы на думской каланче пробили четверть двенадцатого, вышел на панель, опустил письма в почтовый ящик и стал гулять по думскому переулку.

Погода была мягкая, мороз не превышал 2°—3°, и порошил редкий мокроватый снег.

Каждая минута мне представлялась вечностью, и мне казалось, что каждый проходивший мимо меня, подозрительно меня оглядывает и за мною следит.

Часы пробили половина двенадцатого, я положительно не находил себе места; наконец, без десяти минут двенадцать я увидел вдали, со стороны Садовой, яркие огни моего автомобиля, услыхал характерный звук его машины, и через несколько секунд, сделав круг, д-р Лазаверт остановился на панели.

— Ты опять опоздал!—крикнул я ему.

— Виноват!—ответил он искательным голосом,— заправлял шину, лопнула по дороге.

Я сел в автомобиль рядом с ним и, повернув к Казанскому собору, мы поехали по Мойке.

Автомобиля моего решительно нельзя было узнать с поднятым верхом, он ничем не отличался от других, встречавшихся нам на пути.

Согласно выработанному нами плану, мы должны были подъехать не к главному подъезду Юсуповского дворца, а к тому малому, к которому Юсупов наме-

ревался подвезти и Распутина, для чего требовалось предварительно въехать во двор, отделявшийся от улицы железной решеткой, с двумя парами таких же железных ворот, которые, по уговору, должны быть к этому часу открытыми.

Подъезжая ко дворцу, однако, видим, что обе пары ворот закрыты; полагая, что еще рано, мы, не уменьшая хода автомобиля, проехали мимо дворца и там, замедлив ход, сделали круг через площадь Мариинского театра и вновь вернулись на Мойку по Прачешному переулку. Ворота оказались опять закрытыми.

Я был вне себя. „Давай к главному подъезду!— крикнул я Лазаверту.—Пройду через парадное, и когда откроют железные ворота, въедешь и станешь с автомобилем вон у этого малого входа".

Я позвонил. Дверь открыл мне солдат, и я, не сбрасывая шубы, оглянувшись, есть ли еще кто-либо в подъезде (на скамейке сидел еще один человек в солдатской форме, и больше не было никого), повернул в дверь налево и прошел в помещение, занимаемое молодым Юсуповым.

Вхожу и вижу: в кабинете сидят все трое.

— А!!—воскликнули они разом,—vous voila! [1]). А мы вас уже пять минут как ждем, уже начало первого.

— Могли бы прождать и дольше,—говорю,—если бы я не догадался пройти через главный подъезд. Ведь ваши железные ворота к маленькой двери,—обратился я к Юсупову,—и по сию минуту не открыты.

— Не может быть,—воскликнул он,—я сию же минуту распоряжусь,—и с этими словами он вышел.

Я разделся. Через несколько минут в шоферском костюме по лестнице со двора вошел д-р Лазаверт и Юсупов.

Автомобиль был поставлен на условленное место,

[1]) А вот и вы.

у маленькой двери во дворе, после чего мы впятером прошли из гостиной через небольшой тамбур по витой лестнице вниз в столовую, где и уселись вокруг большого обильно уснащенного пирожным и всякою снедью чайного стола.

Комната эта была совершенно неузнаваема; я видел ее при отделке и изумился умению в такой короткий срок сделать из погреба нечто в роде изящной бомбоньерки.

Вся она была разделена на две половины, из коих одна ближе к камину, в котором ярко и уютно пылал огонь, представляла собою миниатюрную столовую, а другая, задняя, нечто среднее между гостиной и будуаром, с мягкими креслами, с глубоким изящным диваном, перед коим на полу лежала громадная, исключительной белизны, шкура-ковер белого медведя. У стенки под окнами в полумраке был помещен небольшой столик, где на подносе стояло четыре закупоренных бутылки с марсалой, мадерой, хересом и портвейном, а за этими бутылками виднелось несколько темноватого стекла рюмок. На камине, среди ряда художественных старинных вещей, было помещено изумительной работы распятие, кажется мне, выточенное из слоновой кости.

Помещение было сводчатым, в стиле старинных, расписных русских палат.

Мы уселись за круглым чайным столом, и Юсупов предложил нам выпить по стакану чая и отведать пирожных до тех пор, пока мы не дадим им нужной начинки.

Четверть часа, в продолжение коих мы сидели за столом, показались мне целою вечностью, между тем особенно спешить было не к чему, так как Распутин предупредил еще раньше Юсупова, что шпики всех категорий покидают его квартиру после 12-ти ночи, и, следовательно, толкнись Юсупов к Распутину до половины первого, он как раз мог напороться на церберов, охранявших „старца".

Закончив чаепитие, мы постарались придать столу такой вид, как будто его только что покинуло большое общество, вспугнутое от стола прибытием нежданного гостя.

В чашки мы поналивали немного чаю, на тарелочках оставили кусочки пирожного и кэкса и набросали немного крошек около помятых несколько чайных салфеток; все это необходимо было, дабы, войдя, Распутин почувствовал, что он напугал дамское общество, которое поднялось сразу из столовой в гостиную наверх.

Приведя стол в должный вид, мы принялись за два блюда с пти-фурами. Юсупов передал д-ру Лазаверту несколько камешков с цианистым калием, и последний, надев раздобытые Юсуповым перчатки, стал строгать яд на тарелку, после чего, выбрав все пирожные с розовым кремом, (а они были лишь двух сортов: с розовым и шоколадным кремом) и отделив их верхнюю половину, густо насыпал в каждое яду, после чего, наложив на них снятые верхушки, придал им должный вид. По изготовлении розовых пирожных, мы перемешали их на тарелках с коричневыми, шоколадными, разрезали два розовых на части и придав им откусанный вид, положили к некоторым приборам.

За сим Лазаверт бросил перчатки в камин, мы встали из-за стола и, придав некоторый беспорядок еще и стульям, решили подняться уже на верх. Но, помню, как сейчас, в эту минуту сильно задымил камин, в комнате стало сразу угарно и пришлось провозиться по крайней мере еще десять минут с очисткой в ней воздуха. Наконец, все оказалось в порядке.

Мы поднялись в гостиную. Юсупов вынул из письменного стола и передал Дмитрию Павловичу и мне по склянке с цианистым калием в растворенном виде, каковым мы должны были наполнить до половины две из четырех рюмок, стоявших в низу в столовой за бутылками через двадцать минут после отъезда Юсупова за Распутиным

Лазаверт облачился в свой шоферский костюм. Юсупов надел штатскую шубу, поднял воротник и, попрощавшись с нами, вышел.

Шум автомобиля дал нам знать, что они уехали, и мы молча принялись расхаживать по гостиной и тамбуру у лестницы вниз.

Было тридцать пять минут первого. Поручик С. пошел проверить, в порядке-ли граммофон и наложена ли пластинка; все было на месте.

Я вынул из кармана отдавливавший его мой тяжелый „соваж" и положил его на стол Юсупова.

Время шло мучительно долго. Говорить не хотелось. Мы изредка лишь перебрасывались отдельными словами и, посоветовавшись о том, можно-ли курить и не дойдет-ли дым сигары или папиросы вниз (Распутин не хотел, чтобы сегодня, в день его посещения, у князя Юсупова были гости-мужчины), стали усиленно затягиваться: я сигарой, а С. и Дмитрий Павлович папиросами.

Без четверти час великий князь и я, спустившись в столовую, налили цианистый калий, как было условлено, в две рюмки, при чем Дмитрий Павлович выразил опасение, как бы Феликс Юсупов, угощая Распутина пирожными, не съел бы второпях розового и, наливая вино в рюмки, не взял бы по ошибке рюмки с ядом. „Этого не случится,—заметил я уверенно великому князю,—Юсупов отличается, как я вижу, громадным самообладанием и хладнокровием".

Исполнив свое дело, мы вновь поднялись на верх, чутко прислушиваясь к малейшим звукам, доходившим с улицы.

„Едут!" — полушопотом заявил я вдруг, отходя от окна.

Поручик С. кинулся к граммофону, и через несколько секунд раздался звук американского марша „янки-дудль", который и посейчас, по временам, преследует меня.

Еще мгновение,—слышим стук автомобиля уже во

дворе, хлопающую дверцу автомобиля, топот стряхивающих снег ног внизу и голос Распутина: „Куда, милый?". Засим дверь от столовой закрылась за обоими приехавшими, и через несколько минут снизу по лестнице поднялся к нам д-р Лазаверт в своем обыкновенном костюме, снявший и оставивший внизу шоферские доху, папаху и перчатки.

Затаив дыхание, мы прошли в тамбур и стали у перил лестницы, ведущей вниз друг за другом в таком порядке: первым к лестнице я, с кастетом в руках, за мною великий князь, за ним поручик С., последним д-р Лазаверт. Мне трудно определить, сколько времени в напряженнейшем ожидании провели мы, в застывших позах у лестницы, стараясь не дышать, не двигаться и, вслушиваясь буквально в каждый шорох, происходивший внизу, откуда доносились к нам голоса разговаривавших то порою в виде односложных звуков, то в связной речи, но расслышать того, что говорилось, мы не могли; полагаю, что мы простояли у лестницы не менее получаса, бесконечно заводя граммофон, который продолжал играть все тот же „янки-дудль".

Того, чего мы ожидали, не произошло, а ожидали мы хлопанья пробок и откупоривания Юсуповым бутылок, стоявших, как я уже сказал, внизу. Это должно было стать показателем, что дело идет на лад, и что через несколько минут после того Распутин окажется трупом. Но... время шло, мирная беседа внизу продолжалась, а собеседники, очевидно, не пили и не ели еще ничего.

Наконец, слышим дверь снизу открывается. Мы на цыпочках бесшумно кинулись обратно в кабинет Юсупова, куда через минуту вошел и он.

— Представте себе, господа,—говорит,—ничего не выходит, это животное не пьет и не ест, как я ни предлагаю ему обогреться и не отказываться от моего гостеприимства

Что делать?

Дмитрий Павлович пожал плечами:—Погодите, Феликс: возвращайтесь обратно, попробуйте еще раз и не оставляйте его одного, неровен час, он поднимется за вами сюда и увидит картину, которую менее всего ожидает, тогда придется его отпустить с миром, или покончить шумно, что чревато последствиями.

— А как его настроение?—спрашиваю я у Юсупова.

— Н-не важное",—протягивая, отвечает последний: можете себе представить, он как будто что-то предчувствует.

— Ну, идите, идите, Феликс!—заторопил Юсупова великий князь.—Время уходит.

Юсупов опять спустился вниз, а мы вновь заняли в том же порядке свои места у лестницы.

Прошло еще добрых полчаса до нельзя мучительно уходившего для нас времени, когда, наконец, нам ясно послышалось хлопанье одной за другой двух пробок, звон рюмок, после чего говорившие до этого внизу собеседники вдруг замолкли.

— Пьют,—прошептал мне над самым ухом Дмитрий Павлович,—ну, теперь уже ждать не долго.

Мы застыли в своих позах, спустившись еще на нескольско ступеней по лестнице вниз. Но... прошло еще четверть часа, а мирный разговор и даже порою смех внизу не прекращались.

— Ничего не понимаю, разведя руками и обернувшись к великому князю, прошептал я ему. Что он заколдован что-ли, что на него даже цианистый калий не действует!

Дмитрий Павлович пожал плечами.—Погодите, слышите, вот, кажется, уже внизу что-то не ладно.

И действительно, как будто послышался оттуда стон. Но это оказалось аберрацией слуха, и через минуту снизу опять послышалось мирное журчание речи одного из собеседников и односложные слова, повидимому, со стороны другого.

Мы поднялись по лестнице вверх и всею группою вновь прошли в кабинет, куда через две или три ми-

нуты неслышно вошел опять Юсупов, расстроенный и бледный:—Нет, говорит, невозможно. Представьте себе, он выпил две рюмки с ядом, съел несколько розовых пирожных и, как видите, ничего; решительно ничего, а прошло уже после этого минут, по крайней мере, пятнадцать. Ума не приложу, как нам быть, тем более, что он уже забеспокоился, почему графиня не выходит к нему так долго, и я с трудом ему объяснил, что ей трудно исчезнуть незаметно, ибо там на верху гостей не много, но что, по всем вероятиям, минут через десять она уже сойдет; он сидит теперь на диване мрачным и, как я вижу, действие яда сказывается на нем лишь в том, что у него беспрестанная отрыжка и некоторое слюнотечение.

— Господа, что вы посоветуете мне?—закончил Юсупов.

— Возвращайтесь обратно,—заметили мы ему,—яд должен, наконец, сделать свое дело, а если тем не менее действие его окажется безрезультатным, поднимайтесь к нам по прошествии пяти минут обратно, и мы решим, как покончить с ним, ибо время уходит, теперь глубокая ночь, и утро может нас застать с трупом Распутина в вашем дворце".

Юсупов медленно вышел и прошел вниз.

В это время я обратил внимание на то, что доктора Лазаверта нет среди нас. Еще несколько раньше я заметил, что этот крепчайшего телосложения человек чувствует себя от волнения положительно дурно: он то нервно шагал по кабинету, апоплексически краснея и в изнеможении опускаясь в глубокие кресла под окном, то хватался за голову, обведя нас всех блуждающим взглядом.

— „Что с вами, доктор?"—спросил я его.

— „Мне дурно!—ответил он полушопотом,—у меня чрезвычайно напряжены нервы. Мне кажется, я не выдержу. Я никогда не думал, что я так мало способен держать себя в руках. Поверите ли, меня сейчас может повалить пятилетний ребенок".

Я крайне удивился, ибо, за все время пребывания в моем отряде д-ра Лазаверта, неоднократно работавшего на передовых позициях не только под орудийным, но и под пулеметным огнем неприятеля, за что он был награжден двумя георгиевскими крестами, он проявил себя человеком большой выдержки, самообладания и несомненного мужества.

„Да,—подумал я,—храбрость там одно, а здесь совсем другое".

— Где Лазаверт?—спросил я поручика С., по уходе Юсупова.

— Не знаю,—ответил последний,—должно быть, у автомобиля.

„Странно"—подумал я и немеревался уже спуститься за ним, как вдруг увидел его бледным, осунувшимся, входящим в дверь кабинета.

— „Доктор, что с вами?"—воскликнул я.

— „Мне стало дурно,—прошептал он,—я сошел вниз к автомобилю и упал в обморок, к счастью ничком, снег охладил мне голову, и, только благодаря этому, я пришел в себя. Мне стыдно, В. М., но я решительно ни к чему не гожусь".

— „Доктор,доктор!—проходя в это время мимо нас и качая головой, промолвил Дмитрий Павлович,—вот не сказал бы".

— „Ваше высочество,"—разводя руками и как бы извиняясь, ответил Лазаверт, „виноват не я, а моя комплекция".

Мы оставили Лазаверта в покое, предоставив его самому себе, и стали ждать.

Через минут пять Юсупов появился в кабинете в третий раз:

— „Господа,—заявил он нам скороговоркой,—положение все то же: яд на него не действует, или ни к черту не годится; время уходит, ждать больше нельзя; решим, что делать. Но нужно решать скорее, ибо гад выражает крайнее нетерпение тому, что гра-

финя не приходит, и уже подозрительно относится ко мне".

— „Ну чтож,—ответил великий князь—бросим на сегодня, отпустим его с миром, может быть, удастся сплавить его как-нибудь иначе в другое время и при других условиях".

— „Ни за что!—воскликнул я.—Неужели вы не понимаете, ваше высочество, что, выпущенный сегодня, он ускользнет навсегда, ибо разве он поедет к Юсупову завтра, если поймет, что сегодня был им обманут. Живым Распутин отсюда,—отчеканивая каждое слово, полушопотом продолжал я,—выйти не может, не должен и не выйдет".

— „Но как же быть?"—заметил Дмитрий Павлович.

— „Если нельзя ядом,—ответил я ему,—нужно пойти ва-банк, в открытую, спуститься нам или всем вместе, или предоставьте мне это одному, я его уложу либо из моего „соважа", либо размозжу ему череп кастетом. Что вы скажете на это?".

— „Да,—заметил Юсупов,—если вы ставите вопрос так, то, конечно, придется остановиться на одном из этих двух способов".

После минутного совещания, мы решили спуститься вниз всем и предоставить мне уложить его кастетом, а Лазаверту, на всякий случай, Юсупов в руки сунул свою каучуковую гирю, хотя первый и заявил ему, что он едва-ли будет в состоянии что-либо сделать, ибо так слаб, что еле передвигает ноги.

Приняв это решение, мы гуськом (со мною во главе), осторожно двинулись к лестнице и уже спустились было к пятой ступеньке, когда внезапно Дмитрий Павлович, взяв меня за плечо, прошептал мне на ухо: attendez un moment[1]) и, поднявшись вновь назад, отвел в сторону Юсупова. Я. С. и Лазаверт прошли обратно в кабинет, куда немедленно вслед за нами вернулись Дмитрий Павлович и Юсупов, который мне сказал:

[1]) Подождите минутку!

— „В. М., вы ничего не будете иметь против того, чтобы я его застрелил, будь что будет. Это и скорее, и проще".

— „Пожалуйста,—ответил я,—вопрос не в том, кто с ним покончит, а в том, чтобы покончить и непременно этою ночью".

Не успел я произнести эти слова, как Юсупов быстрым решительным шагом подошел к своему письменному столу и, достав из ящика его браунинг небольшого формата, быстро повернулся и твердыми шагами направился по лестнице вниз.

Мы молча кинулись вслед за ним и стали на старые позиции, поняв, что сейчас уже ждать придется не долго.

Действительно, не прошло и пяти минут с момента ухода Юсупова, как после двух или трех отрывочных фраз, произнесенных разговаривавшими внизу, раздался глухой звук выстрела, вслед затем мы услышали продолжительное... А—а—а!—и звук грузно падающего на пол тела.

Не медля ни одной секунды, все мы, стоявшие наверху, не сошли, а буквально кубарем слетели по перилам лестницы вниз, толкнувши стремительно своим напором дверь столовой: она открылась, но кто-то из нас зацепил штепсель, отчего электричество в комнате сразу потухло.

Ощупью, ошарив стенку у входа, мы зажгли свет, и нам представилась следующая картина: перед диваном, в части комнаты, в гостиной, на шкуре белого медведя лежал умирающий Григорий Распутин, а над ним, держа револьвер в правой руке, заложенной за спину, совершенно спокойным, стоял Юсупов, с чувством непередаваемой гадливости вглядываясь в лицо им убитого „старца".

Крови не было видно: очевидно, было внутреннее кровоизлияние, и пуля попала Распутину в грудь, но, по всем вероятиям, не вышла.

Первым заговорил великий князь, обратившись ко мне.

— Нужно снять его поскорее с ковра, на всякий случай, и положить на каменные плиты пола, ибо, чего доброго, просочится кровь и замарает шкуру; давайте снимем его оттуда.

Дмитрий Павлович взял убитого за плечи, я поднял его за ноги, и мы бережно уложили его на пол ногами к уличным окнам и головою к лестнице, через которую вошли.

На ковре не оказалось ни единой капли крови, он был только немного примят упавшим телом.

Молча окружили мы затем труп убитого, которого я сейчас увидел в первый раз в жизни и которого знал до этой минуты только по фотографиям, из коих одну большую карточку, где Распутин был изображен в кругу своих поклонников из среды петроградской придворной аристократии за чайным столом, полученную мною от командира 3-го стрелк. гвард. полка генерала А. П. Усова, я переснял в большом количестве экземпляров и с оскорбительною надписью для его поклонников, коих фамилии подписал на карточках, роздал в конце ноября членам Государственной Думы и разослал по редакциям всех петроградских газет.

Сейчас я стоял над этим трупом, и меня волновали самые разнообразные и глубокие чувства; но первым из них, как теперь помню, было чувство глубочайшего изумления перед тем, как мог такой, на вид совершенно обыденный и отвратительный, типа Силена или Сатира, мужик, влиять на судьбы России и на ход жизни великого народа, страна коего, в сущности, представляет часть света, а не государство.

Чем околдовал ты, негодяй—думал я,—и царя, и царицу?

Как завладел ты царем до такой степени, что твоя воля, стала его волею; что ты был фактическим самодержцем в России, обратив помазанника божьего в послушного, беспрекословного исполнителя твоей злонамеренной воли и твоих хищнических аппетитов. И, стоя здесь над этим трупом, я невольно припомнил

рассказ Юсупова о том, чем угощал царя, через посредство своего приятеля тибетского лекаря Бадмаева, Распутин.

— „Зачем ты, Феликс,—сказал как-то раз Распутин Юсупову,—не бываешь у Бадмаева—нужный он человек, полезный человек, ты иди к нему, милой, больно хорошо он лечит травочкой, все только травочкой своею".

— „Даст он тебе махонькую, ма-ахонькую рюмочку настойки из травушки своей, и у—! ух—! как бабы тебе захочется, а есть у него и другая настоечка, и того меньше рюмочку даст он тебе, попьешь ты этой настоечки в час, когда на душе у тебя смутно, и сразу тебе все пустяком покажется, и сам сделаешься ты такой добренькой, до-обренькой, такой глу-упенькой и будет тебе все равным ровно".

— „Не этой-ли настойкою,—думал я, стоя над трупом Распутина,—угощал ты в последнее время постоянно русского царя, отдавшего бразды правления над великой Россией и над своим народом Змею Горинычу,—роковой для России женщине, супруге своей Александре Федоровне, возомнившей себя второю Екатериною Великою, а тебя, государь, приравнявшею к Петру III и не постеснявшейся в письме своем к великой княгине Виктории Федоровне написать ей, что бывают моменты в истории жизни народов, когда при слабоволии законных их правителей женщины берутся за кормило правления государством, ведомым по уклону мужскою рукою, и что Россия такие примеры знает"...

Я стоял над Распутиным, впившись в него глазами.

Он не был еще мертв: он дышал, он агонизировал.

Правой рукою своею, прикрывал он оба глаза и до половины свой длинный, ноздреватый нос; левая рука его была вытянута вдоль тела; грудь его изредка высоко подымалась, и тело подергивали судороги. Он был шикарно, но по-мужицки одет: в прекрасных сапогах, в бархатных на выпуск брюках, в шелковой богато расшитой шелками, цвета крем, рубахе, подпо-

ясанной малиновым с кистями толстым шелковым шнурком.

Длинная черная борода его была тщательно расчесана и как будто блестела или лоснилась даже от каких-то специй.

Не знаю, сколько времени простоял я здесь; в конце концов, раздался голос Юсупова: „ну-с, господа, идемте на верх, нужно кончать начатое". Мы вышли из столовой, погасив в ней электричество и притворив слегка двери.

В гостиной, по-очередно, поздравив Юсупова с тем, что на его долю выпала высокая честь освобождения России от Распутина, мы заторопились окончанием нашего дела.

Был уже четвертый час ночи и приходилось спешить.

Поручик С. наскоро облачился поверх своей военной шинели в шикарную меховую шубу Распутина, надел его боты и взял в руки его перчатки; вслед за ним Лазаверт, уже несколько оправившийся и как будто успокоившийся, облачился в шоферское одеяние, и оба они, предводительствуемые великим князем Дмитрием Павловичем, сели на автомобиль и уехали на нем к моему поезду с тем, чтобы сжечь одежду Распутина в моем классном вагоне, где к этому часу должна была топиться печь, после чего им полагалось на извозчике доехать до дворца великого князя и оттуда на его автомобиле приехать за телом Распутина в Юсуповский дворец.

Мы с Феликсом Юсуповым остались вдвоем и то не на долго: он через тамбур прошел на половину своих родителей, коих в Петрограде, как кажется, в это время не было, а я, закурив сигару, стал медленно прохаживаться у него в кабинете на верху, в ожидании возвращения уехавших соучастников, с коими предполагалось вместе увязать труп в какую-либо материю и перетащить в автомобиль великого князя.

Не могу определить долго ли продолжалось мое

одиночество, знаю только, что я чувствовал себя совершенно спокойным и даже удовлетворенным, но твердо помню, как какая-то внутренняя сила толкнула меня к письменному столу Юсупова, на котором лежал вынутый из кармана мой „соваж", как я взял его и положил обратно в правый карман брюк и как вслед за сим, под давлением той же неведомой мне силы, я вышел из кабинета, дверь от коего в тамбур была закрыта, и очутился в тамбуре совершенно без всякой цели.

Не успел я войти в этот тамбур, как мне послышались чьи-то шаги уже внизу у самой лестницы, затем до меня долетел звук открывающейся в столовую, где лежал Распутин, двери, которую вышедший, повидимому, не прикрыл.

„Кто бы это мог быт?"—подумал я, но мысль моя не успела еще дать себе ответа на заданный вопрос, как вдруг снизу раздался дикий, нечеловеческий крик, показавшийся мне криком Юсупова: „Пуришкевич, стреляйте, стреляйте, он жив! он убегает!"

А-а-!... и снизу стремглав бросился вверх по лестнице кричавший, оказавшийся Юсуповым; на нем буквально не было лица; прекрасные большие голубые глаза его еще увеличились и были на выкате; он в полубессознательном состоянии, не видя почти меня, с обезумевшим взглядом, кинулся к выходной двери на главный коридор и пробежал на половину своих родителей, куда я его видел уходившим, как я уже сказал, перед отъездом на вокзал великого князя и поручика С.

Одну секунду я остался оторопевшим, но до меня совершенно ясно стали доносится снизу чьи-то быстрые грузные шаги, пробиравшиеся к выходной двери во двор, т.-е. к тому подъезду, от которого недавно отъехал автомобиль.

Медлить было нельзя ни одного мгновенья, и я не растерявшись выхватил из кармана мой „соваж", поставил его на „feu" [1]) и бегом спустился по лестнице.

[1]) Огонь.

То, что я увидел внизу, могло бы показаться сном, если бы не было ужасною для нас действительностью: Григорий Распутин, которого я полчаса тому назад созерцал при последнем издыхании, лежащим на каменном полу столовой, переваливаясь с боку на бок, быстро бежал по рыхлому снегу во дворе дворца вдоль железной решетки, выходившей на улицу, в том самом костюме, в котором я видел его сейчас почти бездыханным.

Первое мгновение я не мог поверить своим глазам, но громкий крик его в ночной тишине на бегу: „Феликс, Феликс, все скажу царице!“... убедил меня, что это он, что это Григорий Распутин, что он может уйти, благодаря своей феноменальной живучести, что еще несколько мгновений, и он очутится за воротами на улице, где, не называя себя, обратится к первому, случайно встретившемуся прохожему с просьбой спасти его, так как на его жизнь покушаются в этом дворце, и... все пропало. Естественно, что ему помогут, не зная, кого спасают, он очутится дома на Гороховой, и мы раскрыты.

Я бросился за ним в догонку и выстрелил.

В ночной тишине чрезвычайно громкий звук моего револьвера, пронесся в воздухе — промах.

Распутин поддал ходу; я выстрелил вторично на бегу — и... опять промахнулся.

Не могу передать того чувства бешенства, которое я испытал против самого себя в эту минуту.

Стрелок, более чем приличный, практиковавшийся в тире на Семеновском плацу беспрестанно и попадавший в небольшие мишени, я оказался сегодня неспособным уложить человека в 20-ти шагах.

Мгновения шли... Распутин подбегал уже к воротам, тогда я остановился, изо всех сил укусил себя за кисть левой руки, чтобы заставить себя сосредоточиться, и выстрелом (в третий раз) попал ему в спину. Он остановился, тогда я уже тщательно прицелившись, стоя на том же месте, дал четвертый выстрел, попав-

ний ему, как кажется, в голову, ибо он снопом упал ничком в снег и задергал головой. Я подбежал к нему и изо всей силы ударил его ногою в висок. Он лежал с далеко вытянутыми вперед руками, скребя снег и как будто бы желая ползти вперед на брюхе; но продвигаться он уже не мог и только лязгал и скрежетал зубами.

Я был уверен, что сейчас его песня действительно спета, и что больше ему не встать.

Простояв над ним минуты две и убедившись в том, что сторожить его больше бесполезно, я быстрыми шагами направился обратно через ту же маленькую дверь во дворец, но помню ясно, что в промежуток моей стрельбы по Распутину по панели на улице прошло два человека, из коих второй, услышав выстрел, кинулся в сторону от решетки и побежал.

— Что делать? что делать? — твердил я себе вслух, пройдя в гостиную. Я один; Юсупов невменяем; прислуга в дело не посвящена, труп лежит там у ворот, каждую минуту может быть замечен случайным прохожим и пойдет история. Мне самому не втащить его, ибо одна мысль о возможности прикоснуться к Григорию Распутину вызывала во мне отвращение и гадливое чувство, но медлить было нельзя.

— „Нет,—решил я,—раз дело пошло не так, как мы рассчитывали сначала, то и дальше должно пойти своим путем. Положим, выстрел Юсупова в комнатах прислуга могла не слышать, но нельзя допустить мысли, чтобы два солдата, сидящие в передней у главного входа, могли не услыхать четырех громчайших выстрелов во дворе из моего „соважа“, и я быстрыми шагами направился через тамбур к главному подъезду“.

При виде меня два сидевшие там солдата сразу вскочили.

— „Ребята,—обратился я к ним — я убил... — При этих словах они как-то вплотную придвинулись ко мне, как бы желая меня схватить... — ...я убил, — повторил

я,—убил Гришку Распутина, врага России и царя,"—при последних моих словах один из солдат, взволновавшись до последней степени, бросился меня целовать, а другой промолвил:—„Слава богу, давно следовало".

— „Друзья,—заявил я,—князь Феликс Феликсович и я надеемся на полное ваше молчание. Вы понимаете, что, расскройся дело, царица нас за это не похвалит. Сумеете ли вы молчать?"

— „Ваше превосходительство,—с укоризной обратились ко мне оба,—мы русские люди, не извольте сомневаться, выдавать не станем".

Я обнял и поцеловал того и другого и попросил их немедленно оттащить труп Распутина от решетки во дворе и втянуть его в маленькую переднюю, что находилась у лестницы перед входом в столовую.

Распорядившись этим и узнав, куда прошел Юсупов, я направился к нему, чтобы его успокоить.

Я застал его в ярко освещенной уборной наклонившимся над умывальной чашкой, он держался руками за голову, и без конца отплевывался.

— „Голубчик! что с вами, успокойтесь, его уже больше нет! Я с ним покончил! Идем со мною, милый, к вам в кабинет.—Испытывавший, очевидно, тошноту, Юсупов посмотрел на меня блуждающим взглядом, но повиновался, и я, обняв его за талию, бережно повел на его половину".

Он шел все время повторяя:—Феликс, Феликс, Феликс, Феликс... — Очевидно, что-то произошло между ним и Распутиным в те короткие мгновения, когда он спустился к мнимому мертвецу в столовую, и это случившееся сильно запечатлелось в его мозгу.

Мы проходили через тамбур как раз в то время, когда солдаты Юсупова втаскивали труп в переднюю там у лестницы, внизу.

Юсупов, увидев, над кем они возятся, выскользнул от меня, бросился в кабинет, схватил с письменого стола резиновую гирю, данную ему Маклаковым, и,

повернувшись обратно, бросился вниз по лестнице к трупу Распутина. Он отравлявший его и видевший, что яд не действует; стрелявший в него и увидевший, что его и пуля не взяла, — очевидно, не хотел верить в то, что Распутин уже мертвое тело, и подбежав к нему, стал изо всей силы бить его двухфунтовой резиной по виску, с каким-то диким остервенением и в совершенно неестественном возбуждении.

Я, стоявший наверху у перил лестницы, в первое мгновение ничего не понял и оторопел тем более, что и к моему глубочайшему изумлению, Распутин даже и теперь еще, казалось, подавал признаки жизни.

Перевернутый лицом вверх, он хрипел, и мне совершенно ясно было видно сверху, как у него закатился зрачек правого, открытого глаза, как будто глядевшего на меня бессмысленно, но ужасно (этот глаз я и сейчас вижу перед собою).

Но в след за сим я пришел в себя и крикнул солдатам скорее оттащить Юсупова от убитого, ибо он может забрызгать кровью и себя и все вокруг и в случае обысков, следственная власть, даже без полицейских собак, по следам крови, раскроет дело.

Солдаты повиновались, но им стоило чрезвычайных усилий оттянуть Юсупова, который как бы механически, но с остервенением, все более и более возраставшим, колотил Распутина по виску.

Наконец, князя оттащили. Оба солдата под руки подняли его на верх и всего сплошь забрызганного кровью опрометчиво усадили на глубокий кожаный диван в кабинете.

На него страшно смотреть, до такой степени ужасен был его вид и со стороны внешней, но и со стороны внутренней, с блуждающим взглядом, с подергивавшимся лицом и бессмысленно повторявшим: — Феликс, Феликс, Феликс, Феликс!.. —

Я приказал солдатам поскорее достать где-нибудь материи, обернуть ею плотнее труп с головы до ног и туго связать его спеленатого веревкой.

Один из них принялся за исполнение моего приказания, а другого я позвал через несколько минут на верх и, услышав от него, что стоявший на посту. на углу Прачешного и Максимилиановского переулков городовой, приходивший осведомляться о том, почему здесь стрельба, через полчаса будет сменен другим и должен будет доложить своему начальству обо всем произошедшем в его районе во время его дежурства, приказал позвать его к себе.

Через десят минут городовой был введен солдатом в кабинет. Я быстро окинул его взглядом с ног до головы и сразу понял, что это тип служаки старого закала, и что я допустил ошибку, позвав его к себе; но делать было нечего, приходилось считаться со случившимся.

— „Служивый!—обратился я к нему.—Это ты заходил несколько времени тому назад справиться о том, что случилось и почему стреляют?“—

— „Так точно, ваше превосходительство!“—ответил он мне.

— „Ты меня знаешь?“ —

— „Так точно,“—ответил он вновь,—знаю.—

— „Кто же я такой?“ —

— „Член государственной думы Владимир Митрофанович Пуришкевич“. —

— „Верно!—заметил я.—А этот барин тебе знаком?—указал я на сидевшего в том же состоянии князя Юсупова“.

— „И их знаю,“ —ответил мне городовой.

— „Кто это?“ —

— „Его сиятельство князь Юсупов“. —

— „Верно! Послушай, братец,—продолжал я, положив руку ему на плечо. — Ответь мне по совести: ты любишь батюшку царя и мать Россию; ты хочешь победы русскому оружию над немцем?“ —

— „Так точно, ваше превосходительство,—ответил он. — Люблю царя и отечество и хочу победы русскому оружию“. —

— „А знаешь ли ты,—продолжал я,—кто злейший враг царя и России, кто мешает нам воевать, кто нам сажает Штюрмеров и всяких немцев в правители, кто царицу в руки забрал и через нее расправляется с Россией?“ —

Лицо городового сразу оживилось.

— „Так точно, — говорит, — знаю, Гришка Распутин“. —

— „Ну, братец, его уже нет: мы его убили и стреляли сейчас по нем. Ты слышал; но можешь сказать, если тебя спросят: „знать не знаю и ведать не ведаю“. Сумеешь ли ты нас не выдать и молчать?“ —

Он призадумался.—„Так что, ваше превосходительство, если спросят меня не под присягою, то ничего не скажу, а коли на присягу поведут, тут делать нечего, раскрою всю правду. Грех соврать будет“.—

Я понял, что всякие разговоры не приведут ни к чему и, узнав от него, что дежурство его кончается через полчаса, и что полицмейстером этого района является полковник Григорьев, человек, насколько я знал, очень порядочный и хорошей семьи, я отпустил его с миром, решив положиться на судьбу в дальнейшем.

Вошел солдат и доложил мне, что труп уже упакован.

Я спустился посмотреть: тело было плотно запеленуто в какую-то синюю материю; мне показалось даже, что это была оконная занавеска, туго перевязанная веревкой; голова была закрыта. Теперь я увидел, что Распутин несомненно труп и ожить уже не может.

Делать было нечего, приходилось терпеливо дожидаться возвращения великого князя, Лазаверта и поручика С., и я, поднявшись в последний раз в кабинет Юсупова и передав его в руки слуг с просьбой помочь ему немедленно обмыться, переодеться с ног до головы и переобуться, сел в кресло и стал ждать.

Минут через пять послышался стук автомобиля, и великий князь со своими спутниками, быстро поднялись по лестнице со двора в кабинет.

Дмитрий Павлович, был почти в веселом настроении; но взглянув на меня, понял, что что-то случилось.

— Qu'est ce, qui est arrivé? [1])— озираясь вокруг, спросил он меня, я в двух словах разъяснил приехавшим, в чем дело, прося торопиться, но последняя просьба моя была излишней: они сами поняли, что медлить было нельзя ни одной минуты и мы, поручив Юсупова попечениям одного из его солдат, втянули труп Распутина в автомобиль великого князя, туда же положили две двухпудовые гири и цепи, привезенные мною в квартиру Юсупова этою ночью, и, усевшись в автомобиль, двинулись к месту условленного потопления трупа убитого.

Теперь шоффером был великий князь, рядом с ним поместился поручик С., а в карету сели с правой стороны д-р Лазаверт, с левой я, а на трупе уместился второй солдат из слуг Юсупова, коего мы решили взять с целью помочь нам сбросить в прорубь тяжелое тело.

Уже в пути я заметил, что в карете оказалась и шуба Распутина и его боты: „почему это не сожжено в поезде, спросил я д-ра Лазаверта, как было условно, и вы все это привезли обратно?"

— „Потому,—ответил он, что шуба целиком в печь не влезала, само собою разумеется, а ваша жена сочла невозможным заняться распарыванием и разрезыванием этой шубы на части и сжиганием ея по кускам".

„У нее даже на этой почве вышло столкновение с Дмитрием Павловичем, и шубу и боты так и пришлось привезти обратно. Мы сожгли его верхнюю поддевку, перчатки и, не помню, еще что-то.

— „Шубу и калоши придется выбросить с трупом в воду,"—добавил он.

— „А вы протелефонировали, господа, спросил я его вновь, в Вилла Родэ, согласно уговору?"

„Да, конечно, ответил он, это сделано".

---

[1]) Что случилось?

Мы замолкли и в таком состоянии продолжали наш путь.

Автомобиль по городу шел сравнительно медленно. Час был очень поздний, и великий князь, очевидно, опасался быстрою ездою возбудить какие-либо подозрения полиции.

Окна автомобиля были спущены. Свежий морозный воздух бодряще действовал на меня. Я был совершенно покоен, не смотря на все пережитое, но мысли одна за другою, все вертевшиеся вокруг Распутина и его прошлого и тех усилий, которые употреблялись даже членами императорской фамилии для избавления царя от этого гада, мысли отчетливые и ясные и картины этой борьбы против Распутина вихрем проносились в моей голове.

Я вспомнил мое посещение великого князя Николая Михайловича в начале ноября, тотчас же по возвращении моем с фронта,—посещение, опять-таки, связанное с именем Распутина. Я вспомнил, как редактор „Истории. Вестника" Глинский, позвонив мне по телефону, передал приглашение великого князя Николая Михайловича приехать к нему в любой день и час, когда мне это будет удобно; вспомнил, как я боролся с самим собою: ехать или не ехать, ибо великий князь Николай Михайлович, в своих исторических трудах выставлявший, в крайне неприглядном виде своих царственных дедов и прадедов и маравший их, мне казался крайне несимпатичным.

Но я решился, назначил день моего визита и поехал.

Меня встретил в кабинете дряхлеющий лев, в генерал-адъютантских погонах, говоривший почему-то с восточным акцентом и с первых же слов остановшийся на ужасном положении, в которое поставлена Россия и династия Романовых, благодаря исключительному влиянию на царя, через Александру Федоровну, Распутина.

Я поразился откровенности великого князя, с кото

рым познакомился лишь сейчас, в момент, когда к нему вошел; но, видимо, у него в душе накипело слишком много, и он хотел проверить себя и свое настроение по настроению других русских людей, иных взглядов даже и направлений, чем его собственное (я узнал потом от Юсупова, который у него завтракал в этот день, что через два часа после моего визита, у него был с визитом Бурцев).

Он говорил сам, почти все время не останавливаясь, изредка вопросительно взглядывая на меня, отвечавшего ему либо одобрительным наклонением головы, либо коротким „да", „верно", „конечно", „так".

— „Вы знаете, В. М., — говорил великий князь, — что почти вся наша семья Романовых подала государю записку о Распутине, прося взять бразды правления над Россией в свои руки и прекратить вмешательство в государственные дела императрицы Александры Федоровны, во всем инспирируемой этим хлыстом; из записки, как и следовало ожидать, конечно, ничего не вышло. Я ее даже не подписал, ибо видел ее бесцельность и понял, что записка специальная только по этому вопросу не даст результатов для дела, а приведет к плачевным результатам для подписавших.

— „Я сделал иначе: получив серьезное поручение от государя и выполнив его, я написал доклад по существу порученного мне дела, и в этом докладе ярко и выпукло, но как бы между прочим, указал на весь ужас современных общественных настроений России с которыми хорошо знаком, — настроений, являющихся следствием распутинского над Россией „радения" и вмешательства во все дела чужой народу и России царской жены.

— „Написав доклад, продолжал великий князь, — я, в бытность государя в Петрограде, попросил его назначить мне день для личного и устного ему его изложения, добавив царю: — боюсь, однако, что после моего доклада, ты прикажешь арестовать меня и выслать подальше от столицы с казаками.

— „Разве доклад так страшен у тебя,—ответил мне государь, назначая день,—ну что делать, прослушаем, надеюсь, все обойдется мирно.—И я ему доложил, а в результате—ко мне немилость, опала и полное охлаждение. Хотите, закончив рассказ, обратился великий князь, я вам прочту этот доклад".—Я выразил желание его прослушать, и Николай Михайлович прочел мне небольшую, но очень сильно и резко написанную записку, в коей обращалось внимание государя на то, что в случае дальнейшего вмешательства Александры Федоровны и Распутина в государственные дела, династии грозит гибель, а российской империи—катастрофа.

Я вспомнил, что, когда великий князь кончил чтение записки, я несколько минут, под впечатлением прослушанного, сидел, как загипнотизированный, и пришел в себя только после того, как великий князь, предлагая мне сигару, добавил:—„Вы знаете, этот доклад я представил императрице Марии Федоровне, находящейся в Киеве, через князя Шервашидзе, и хотите знать о нем мнение матери-царицы?—Вот оно,"—и, порывшись в бумагах, великий князь дал прочесть мне телеграмму. В ней стояло только три слова французскими буквами и подпись: „браво, браво, браво! Мария". По осторожный Шервашидзе, добавил великий князь, повидимому, боялся оставить среди бумаг старой царицы столь компрометирующую бумагу, как моя записка, и вот при этом письме ко мне (Николай Михайлович протянул мне письмо Шервашидзе), выражающем опасение, что я могу остаться без нужного для меня документа, возвратил мне мою записку, вызвавшую столь яркое сочувствие и одобрение мне со стороны царицы-матери"...

Вот, что припомнилось мне сейчас в карете, когда в ногах моих лежал бездыханный труп „старца", которого мы увозили к месту его вечного упокоения.

Я выглянул в окошко. Мы выехали уже за город, о чем говорили окружающие дома и бесконечные заборы. Освещение вокруг было крайне скудное. Дорога

стала скверной, попадались ухабы, на которых, лежавшее у наших ног тело подпрыгивало, несмотря на сидевшего на нем солдата, и я чувствовал, как по мне пробегала нервная дрожь всякий раз, когда на ухабе моего колена касался мягкий и еще не успевший, несмотря на мороз, окончательно застыть отвратительный для меня труп.

Наконец, вдали показался мост, с которого мы должны были сбросить в прорубь тело Распутина.

Дмитрий Павлович замедлил ход, въехал на мост с левой стороны и остановился у перил.

Яркие фонари у автомобиля на одно мгновение ударили снопом своего света в сторожевую будку, находившуюся на той стороне моста справа, но вслед за сим великий князь потушил огонь, и даль очутилась во мраке. Мотор машины продолжал стучать на месте.

Бесшумно, с возможною быстротой открыв дверцы автомобиля, я выскочил наружу и встал у самых перил; за мною последовали солдат и д-р Лазаверт; к нам подоспел сидевший рядом с великим князем поручик С., и мы вчетвером (Дмитрий Павлович стоял перед машиной на стороже), раскачав труп Распутина, с силой бросили его в прорубь, бывшую у самого моста; позабыв привязать к трупу цепями гири, каковые побросали вслед за трупом впопыхах одну за другой, а цепи засунули в шубу убитого, каковую так же бросили в ту же прорубь. За сим, обшарив в потьмах автомобиль и найдя в нем один из ботов Распутина, д-р Лазаверт швырнул его также с моста.

Все это было делом не более двух-трех минут, после чего в автомобиль сели д-р Лазаверт, поручик С. и солдат, а я уместился рядом с Дмитрием Павловичем, и мы зажгли опять огни в автомобиле, двинулись через мост дальше.

Как мы не были замечены на мосту, представляется мне и по сей день до нельзя удивительным, ибо, проезжая мимо будки, мы заметили около нее сторожа, который однако спал крепким сном и не проснул-

ся, повидимому, даже в тот момент, когда, въехав на мост с трупом, мы внезапно осветили его будку и направили свет фонарей и на него самого.

Проехав мост, великий князь пустил автомобиль быстрее, но машина была у него не в порядке, мотор давал перебои и приходилось даже несколько раз останавливаться, ибо машина не хотела двигаться вперед.

Д-р Лазаверт в таких случаях соскакивал, возился у свечек автомобиля, прочищал их, и мы кое-как вновь пускались в путь.

Последняя починка и остановка случилась с нами на Каменноостровском проспекте, почти насупротив Петропавловской крепости, где починившись, мы двинулись уже скорее и благополучно прибыли во дворец Сергея Александровича, где проживал Дмитрий Павлович.

По дороге я рассказал великому князю об всем, что произошло во дворце Юсупова в часы, когда Дмитрий Павлович уехал сжигать вещи убитого, и, закончив свой рассказ, сказал ему: — „А вы знаете, Дмитрий Павлович, я считаю большой ошибкой с нашей стороны то, что мы кинули труп в воду, а не оставили его где-нибудь на виду. Мне кажется, что могут появиться лже-Распутины, т. к. это ремесло довольно выгодное".

— „Может быть, вы и правы, — заметил великий князь,—но ведь сделанного не переделаешь".

Въехав в ворота дворца, мы, выходя из автомобиля к крайнему изумлению нашему нашли в нем второй незамеченный нами бот Распутина, и усмотрели на ковре, устилавшем автомобиль, пятна просочившейся крови убитого.

Великий князь приказал своей прислуге, встретившей нас у крыльца и производившей на меня впечатление посвященной во все дело, сжечь ковер и калошу Распутина, после чего поручик С., д-р Лазаверт и я распрощались с Дмитрием Павловичем и, выйдя из дворца, на двух извозчиках отправились на Варшавский вокзал, поручик С. забрать оттуда свою

жену, которая в течение этой ночи находилась у моей жены, а я и д-р Лазаверт уснуть в течение тех нескольких часов, которые оставались нам до посещения моего поезда с целью его осмотра членами Государственной Думы, которые должны были прибыть на вокзал в 9 часов утра.

Был уже 6-й час утра, когда, рассчитавшись с извозчиком на мосту варшавского вокзала, мы пробрались к своему вагону, нас никто не заметил, все вокруг спало мертвым сном.

В коридоре вагона, при виде нас, мелькнула белая, сестринская косынка моей жены, ожидавшей нашего возвращения, и мы бесшумно проскользнули каждый в свое купэ, где я тотчас же заснул, не раздеваясь!

Еще не было половины девятого в день 17-го декабря, когда, кто бы сказал, свежие и бодрые, несмотря на проведенную ночь, мы с доктором Лазавертом, расставив дневальных санитаров у вагонов, стали поджидать думских гостей; они явились в начале десятого с А. С. Шингаревым, как врачем, во главе, и детальнейший осмотр поезда длился почти до полудня, при чем оба мы давали гостям все нужные разъяснения, характеризуя работу наших отрядов.

В начале первого члены Государственной Думы уехали, а я, сев на автомобиль, заехал к матери попрощаться, да заехать в Государственную Думу чтоб послать телеграмму в Москву В. Маклакову. „Когда приезжаете?“ обозначавшую, как было обусловлено, что „Распутин убит“.

Из Государственной Думы я проехал во дворец принца Ольденбургского, с целью увидать управляющего его канцелярией генерала Кочергина и, наконец, в четвертом часу, заехал еще на Инженерную, в главное управление Креста, чтобы встретиться с управляющим его делами—Чаманским.

Все эти визиты, изыскивая для них предлог, я, не нуждавшийся уже решительно ни в чем для поезда, делал с единственною целью для того, чтобы меня

сегодня с самого раннего утра, видели за обычным делом посторонние мне люди разнообразных профессий и классов общества и могли бы, если бы понадобилось, удостоверить, что я был таким же сегодня, каким они меня знали всегда.

В пятом часу вечера я возвратился на поезд, погрузил и второй мой автомобиль, отдав распоряжение в своей канцелярии добиться у администрации дороги отхода моего поезда не позже 8 часов вечера, но едва я успел у себя в поезде сесть за стол со всем персоналом моего отряда, как слышу подъезжает автомобиль, и поручик С., выйдя из него, направляется ко мне.

Мы прошли в мое купэ, где С. передал мне просьбу Дмитрия Павловича немедленно приехать к нему во дворец.

Я сел с ним в автомобиль, и мы поехали.

Во дворце я застал, кроме хозяина, еще и Юсупова, оба они были чрезвычайно взволнованы, пили чашку за чашкой черное кофе и коньяк, заявив, что не ложились спать вовсе этой ночью и что день провели до нельзя тревожно, ибо императрица Александра Федоровна уже осведомлена об исчезновении и даже смерти Распутина и называет нас виновниками его убийства.

Фрейлина Головина, секретарша Распутина, сообщила, куда поехал Григорий Ефимович вечером, вся полиция и все сыскное отделение уже поставлены на ноги, в целях розыскать труп убитого и найти все нити этого дела.

— „Я, заметил мне Юсупов, должен был из-за этого гада застрелить одну из лучших моих собак и уложить ее на том месте во дворе, где снег окрасил кровью убитого вами „старца".

— „Сделал я это на случай, если наши шерлокихолмсы, попав на верный след исчезнувшего Распутина, пожелают анализировать кровь или прибегнуть к полицейским собакам. Я, закончил он, всю оставшуюся часть ночи, провел с моими солдатами над приведением дома в порядок, а теперь, как видите,

В. М., мы сочиняем письмо Александре Федоровне с Дмитрием Павловичем, которое и надеемся сегодня же ей доставить".

Я принял участие в дальнейшем изложении этого письма, которое мы и закончили часа через полтора после моего прибытия.

Когда письмо было закончено и запечатано, Дмитрий Павлович вышел из кабинета отправить его по назначению, хотя мы все трое чувствовали некоторую неловкость друг перед другом, ибо все в письме написанное было умело продуманной ложью и изображало нас в виде незаслуженно оскорбленной добродетели.

Воспользовавшись его уходом, я спросил Юсупова:—„скажите, князь, что произошло у вас с Распутиным в те немногие минуты, когда вы в последний раз спустились в столовую, откуда мы ушли все вместе, как вы помните, оставив его, казалось, при последнем издыхании на холодном полу?"

Юсупов болезненно усмехнулся:—„Произошло то,—ответил он мне,—чего я не забуду во всю мою жизнь: спустившись в столовую, я застал Распутина на том же месте, я взял его руку, чтобы прощупать пульс,—мне показалось, что пульса не было, тогда я приложил ладонь к сердцу—оно не билось, но вдруг, можете себе представить мой ужас, Распутин медленно открывает во всю ширь один свой сатанинский глаз, вслед за сим другой, впивается в меня взглядом непередаваемого напряжения и ненависти и со словами: „Феликс! Феликс! Феликс!" вскакивает сразу, с целью меня схватить, я отскочил с поспешностью, с какой только мог, а что дальше было,—не помню".

В эту минуту возвратился великий князь Дмитрий Павлович, и я, попрощавшись и обнявшись с ним, Юсуповым и поручиком С., уехал в автомобиле великого князя обратно в поезд, а в 10 час. вечера двинулся в путь на фронт, покинув русскую столицу, которую предполагали покинуть на следующий день и

Дмитрий Павлович и Юсупов, собиравшийся к жене в Крым в Кореиз.

Таков был ход событий всего происшедшего с вечера 16-го декабря по вечер 17-го...

. . . . . .

Светает. Я дописываю эти строки при первых проблесках зарождающего зимнего дня.

Еще темно, но я чувствую, что день уже близок. Я не могу заснуть. Вихрем проносится в разгоряченном мозгу моем рой быстро сменяющих одна другую мыслей. Я не могу забыться; я думаю о будущем, не мелком, не личном: нет, а о будущем того великого края, который дороже мне семьи и жизни,—края, который зову Родиной.

Боже мой! Как темно грядущее в эти тяжелые годы ниспосланных нам рукою всевышнего бранных испытаний!

Вынесем ли мы всю тяжесть бремени духовной непогоды или обессилим, и уставшие и измученные, веру в себя потерявшие, утратим и то место в мире, которое занимали мы в течение многих веков нашего исторического существования.

Кто скажет? Кто ответит? Кто сдернет завесу и рассеет туман, застилающий грядущие дали?

Великий-ли мы народ, способный в русле национальной реки пробивать себе путь вперед, поглощая в водах своих другие племена и мелкие народы, или?... Или для нас все кончено, и мы, изжившиеся, измельчавшие и растленные ходом времени, обречены стать лишь ареною борьбы между собою других племен, других народов, почитающих славянство низшею расою, способною лишь утучнять чужие поля стран, шествующих по костям его к свету, к знанию и к мировому господству, коего нам достичь судьбою не дано.

Кто скажет? Кто ответит? Кто предречет поток событий в густом молочном тумане просыпающегося дня?

18 декабря 1916 г.
В пути.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РСФСР 19.. ГОД

ПОГАШЕНО